О диалогической речи.

Глава I. О функциональных многообразиях речи.

§ 1. Речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие проявляется не только в существовании бесчисленного множества отдельных языков, наречий, говоров и пр. вплоть до диалектов отдельных социальных групп и, наконец, индивидуальных диалектов, но существует и внутри данного языка, говора, наречия (даже внутри диалекта данного индивида) и определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка, как непосредственно данного живому восприятию явления, ни уяснение его генезиса, его „истории".

§ 2. Язык есть разновидность человеческого поведения. Человеческое поведение есть факт

психологический (биологический), как проявление человеческого организма, и факт социологический, как такое проявление, которое зависит от совместной жизни этого организма с другими организмами в условиях взаимодействия.

Отсюда очевидно, что те факторы, о которых мы говорили выше, будут либо факторы психологического, либо факторы социального порядка.

§ 3. Психологическая обусловленность речи предполагает необходимость различать следующие основные ее видоизменения: с одной стороны, речь в условиях нормального, патологического и не-нормального состояния организма; с другой стороны речь при преобладающем влиянии эмоционального или интеллектуального момента [1]).

Все эти видоизменения (за исключением разве случая не-нормального состояния организма) прекрасно учитываются современной лингвистикой; но к сожалению только учитываются, конкретного же исследования речевых явлений в плоскости

[1]) Само собой разумеется, что в связи с психологической обусловленностью речи являются необходимыми и дальнейшие более или менее значительные разграничения, но я здесь отмечаю только основные.

обусловленности их теми или иными из указанных факторов почти нет. До сих пор лингвистика работает врозь с патологией речи, до сих пор не исследованы явления эмоциальной речи, нет даже сырого материала по этому вопросу за исключением области словоупотребления, где далеко еще не достигнуто удовлетворительных результатов. Влияние эмоциональных состояний различного порядка на произношение совершенно не изучено, а между тем это представляло бы огромный интерес для исторической фонетики, которая в этой области либо принуждена молчать, либо ограничивается случайными и малоубедительными замечаниями вроде приведенных мною в статье „О звуках стихотворного языка“ (сборник *Поэтика*, П. 1919 г. стр. 48). Точно также не исследована в этом отношении и область синтаксиса.

Особенно плохо обстоит дело в лингвистике с речью при не-нормальных состояниях организма, в частности я имею в виду речевую деятельность при лирическом стихотворном творчестве, где выяснение этого вопроса было бы особенно важно ввиду того, что тогда можно было бы выделить в речи лирического стихотворения те ее особенности, которые обязаны влиянию особого ненормального состояния организма и не имеют художественного происхождения.

§ 4. Что касается факторов социологического порядка, то они могут быть классифицированы следующим образом: во первых, должны быть приняты во внимание условия общения в привычной среде (или средах) и взаимодействия с непривычной средой (или средами); во вторых, — формы общения: непосредственные и посредственные, односторонние и перемежающиеся (об этом см. ниже); в третьих, — цели общения (и высказывания): практические и художественные; безразличные и убеждающие (внушающие), причем в последнем случае интеллектуально и эмоционально убеждающие.

Должен оговориться, что я ни в какой степени не считаю всю изложенную классификацию сколько нибудь окончательной: она помогает лишь несколько ближе подойти к постановке весьма важного вопроса о сложной функциональной обусловленности речи и имеет вполне предварительный характер.

§ 5. Рассмотрение языка в зависимости от условий общения является основной базой современного языкознания. То сложное разнообразие диалектов (языков, говоров, наречий), которое устанавливает, описывает и изучает генетически современная лингвистика, есть прежде всего результат условий общения и образования в связи

с этим различных общественных группировок по различным признакам (территориальным, национальным, государственным, профессиональным и т. д.), группировок сложно между собою взаимодействующих. Конечно, языкознание в этом отношении еще не сказало своего последнего слова, но достижения его в области изучения диалектов (в широком вышеуказанном смысле слова) — огромны.

Нужно, однако, заметить, что в порядке изучения языка, как явления среды и взаимодействия сред, не поставлен еще вопрос, являющийся до некоторой степени основным, а именно вопрос о том, в какой мере речевое высказывание и речевое общение определяется с психологической и морфологической (в широком смысле этого слова) точки зрения условиями общения в данной привычной среде. Это еще нерешенная очередная задача. И, в сущности, только по ее разрешении может быть в полной мере исследован вопрос и о взаимодействии различных языковых сред.

§ 6. Гораздо меньшее внимание уделяло языкознание вопросу о целях речевого высказывания. Я не боюсь преувеличить, если скажу, что оно попросту игнорировало этот вопрос; это будет во всяком случае верно в применении к традицион-

ному языкознанию „младограмматического“ направления.

Тем не менее можно указать ряд случаев, когда многообразия, основанные на целевых различиях, всплывали в науке, иногда в дисциплинах побочных, как, например, в теории поэзии, или в таких специальных отделах лингвистики, как так называемая „философия“ языка.

В последнее время, в связи с попытками построения научной поэтики, интерес к многообразиям речи, вызываемым различиями ее целей, снова оживился, хотя ничего сколько нибудь окончательно ценного по этому вопросу не сказано.

§ 7. Уже у Гумбольдта [1]) отмечаются, иногда только упоминаются, некоторые функциональные речевые разнообразия. Прежде всего он это делает, противополагая „поэзию“ и „прозу“, как два различных явления языка, причем однако это различие проводится недостаточно ясно и не сопровождается языковым анализом; отмечается, что поэзия и проза, подчиненные со стороны „всеобщих требований“ одним и тем же условиям, в своем „направлении“ (цели?) и „средствах“ (морфологических особенностях?) — „отличны друг от

[1]) В. Гумбольдт,—*О различии организмов человеческого языка.* Спб. 1859; стр. 214 и сл.

друга, и собственно никогда не могут слиться" (стр. 217), что „поэзия... неразлучна от музыки", а „проза предоставлена исключительно языку" (ibid); здесь под поэзией понимается, очевидно, стихотворная поэзия. Относительно прозы, Гумбольдт, указывает, что „язык пользуется в речи своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей здесь цели" (стр. 216), „посредством подчинения и сочетания предложений, в прозе совершенно особым образом развивается соответствующая развитию мыслей логическая эвритмия (разрядка моя, за исключением двух последних слов), в которой прозаическая речь... настраивается своею собственною целью" (стр. 216); разница между поэзией и прозой определяется также в противопоставляемых друг другу понятиях „искусство" и „естественность", „художественная форма поэзии" и „естественная простота прозы" (стр. 219 и 220); упоминает Гумбольдт и о „соотносительных положениях между поэзией и прозой и сближении между ними по внутреннему и внешнему существу" (стр. 219), о том что „прозаическое настроение" непременно должно искать „пособий письменности" и что от введения письменности „в развитии поэзии возникает два ее рода и т. д." (стр. 231). Что касается чисто

языкового анализа, то Гумбольдт его не даёт, но все таки говорит, что „как в поэзии, так и в прозе, язык действительно имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь“ (стр. 218).

Говоря о взаимоотношениях между „прозой“ и „действительностью“, Гумбольдт утверждает: проза не может ограничиться только простым изображением действительности и остаться при одних чисто—внешних целях, служа только как бы сообщением о делах, без возбуждения идей и ощущений. Тогда она не отличается от обыкновенной разговорной речи (разрядка Гумбольдта) (стр. 216). Здесь устанавливается еще одна функциональная разновидность речи, и в другом месте Гумбольдт детализирует это понятие (обыкновенной разговорной речи), отличая „образованный и обильный мыслями разговор“ и „повседневную или условную болтовню“ (стр. 224). Далее Гумбольдт выделяет язык „ученой прозы“; он говорит, что именно здесь язык получает окончательную определенность для отличия и установления понятий и самую чистую оценку склада предложений и их частей по отношению к одной общей

цели“ (стр. 221); языку сообщается характер „строгости“ и „сопряженной с наивысшей ясностью силы. С другой стороны употребление языка в этой области приучает к спокойствию и воздержанности, а в синтаксическом складе — к избеганию всякого искусственного сплетения... Таким образом тон ученой прозы совсем иной, чем прозы изображенной выше. Здесь язык, вместо того, чтобы давать волю своей самостоятельности (курсив мой), сколько можно должен приноровляться к мысли, идти вслед за нею и представлять ее собою“ (стр. 222). Любопытно, что Гумбольдт как бы подчеркивает функциональность „ученого языка“, когда полемизирует с теми, кто хотел вывести особенности языка Аристотеля из индивидуальных особенностей его „духа“, а не из самой „методы мышления и исследования“ в данном случае; он указывает на занятия Аристотеля музыкой и поэзией, на сохранившийся от него гимн, „исполненный поэтического одушевления“, на некоторые места „этики“; „аристотелевская дикция“ и „платоновская дикция“ противополагаются Гумбольдтом в связи с „разными методами“, в связи с разным, мы бы сказали, телеологизмом их высказываний; Аристотелю, как индивиду, „ученая“ речь была свойственна на ряду с „поэтической“, т. е. мы имеем здесь дело с

функциональным разнообразием внутри индивида.

Говоря об „ученой прозе“, Гумбольдт вносит детализацию, поскольку упоминает „о совершенно особого рода изяществе“, которым отмечается „философский язык... в сочинениях Фихте и Шеллинга, и, хотя только в отдельных частностях но зато поразительно, у Канта“ (стр. 223). Наконец, Гумбольдт упоминает и о прозе „красноречия“, т. е. выделяет, как особую разновидность, ораторскую речь (стр. 231 — 2)[1].

§ 8. Что касается лингвистического подхода к различию „поэзии“ и „прозы“ и к выделению поэтической речи, как особой разновидности языка, то довольно значительный материал можно было бы найти в показаниях поэтов. Постоянно фигурирует этот вопрос и в „теории словесности“, восходя генетически к Аристотелю. Прослеживать все это нет надобности, так как лингвистически убедительного здесь весьма мало. Я отмечу только то, что говорится по этому поводу у Аристотеля, так как здесь (насколько мне это известно) мы имеем

[1]) Позиция Гумбольдта в отношении целевых многообразий речи не является одинокой в его время; в частности в не лингвистической литературе этой и отчасти непосредственно предшествовавшей эпохи можно найти подобные же мысли.

источник указанной традиции, поражающий в наши дни отчетливостью и фактичностью подхода, несмотря на краткость этого места „Поэтики“.

Я остановлюсь на мыслях, высказываемых Аристотелем во 2-ой главе его „Поэтики“ [1]).

Аристотель различает два „достоинства“ языка: „ясность“ и „благородство“; ясность достигается „употреблением слов и выражений простых и естественных, но при этом легко впасть в тривиальность“, „напротив, изысканные речения, снимая с языка повседневную одежду, придают ему внешность праздничную“, „к изысканным относятся слова заимствованные, метафоры, удлинения и все выходящее из пределов обыденного. Но изысканность в своей исключительности может породить загадочность или барбаризм.... итак должно умелым образом перемешивать два эти элемента. На самом деле от слов общепринятых язык получает ясность, присоединением же слов иностранных, метафор, эпитетов и всего остального он делается благородным, избегнув тривиальности.

Не мало способствует ясности и благородству языка удлинения, сокращения и различные в

---

[1]) В. И. Захаров. *„Поэтика“ Аристотеля (введение, перевод, комментарии)*, Варшава, 1885, стр. 87 и сл.

словах изменения. Подобное слово измененным своим звуком теряет печать повседневного...“; указывая как на необходимую принадлежность поэтического языка, на „изысканные выражения, метафоры и другие виды образного языка“, Аристотель предлагает „заменить их на речь обыденную“, приводя примеры; между прочим он указывает на один и тот же ямбический стих у Эсхила и у Эврипида „с переменою одного только слова, вместо общеупотребительного поставлено изысканное“; далее Аристотель полемизирует с Арифрадом, осмеивающим трагиков за то, что они употребляют выражения не находящиеся в общежитии, и говорит, что „все эти выражения потому именно и нетривиальны“ (т. е. поэтичны, Л. Я.), что не живут более в обыденном разговоре. Чрезвычайно важно умело пользоваться словами составными, речениями изысканными и вообще всяким видом поэтического языка. Всего же важнее знать толк в образном языке“. Любопытно, что Аристотель, говоря об особенностях поэтического языка, проходит через все „стороны“ языка: касается фонетики („измененным своим звуком“, места о стихе), словообразования („составные слова“), словоупотребления (не общеупотребительные слова), семантики (метафоры, эпитеты); не придает он

преобладающего значения ритмичности, не основывает своих разграничений на противоположении стихов и прозы; еще в I-ой главе он говорит: „для поэзии материею служит только одно слово, все равно будет ли то проза или стихи, многими или одним размером написанное сочинение“; далее он даже полемизирует с представителями „формального метода“ (и тогда такие были!), „измеряющими поэзию метром“, сваливая в одну кучу Гомера и Эмпедокла (стр. 55—6).

Точно также, как это видно из вышеизложенного, он не придает доминирующего значения „образности“. Говоря о метафорах (и образности), Аристотель остается в той же плоскости речевого рассмотрения, противополагая их „речи обыденной“, а не вдаваясь в анализ особого мышления свойственного поэту; в другом месте (глава 21-ая, стр. 85) метафоричность ставится в один ряд с другими явлениями языка: „имя может быть общеупотребительное, из другого диалекта заимствованное, метафорическое, может служить для украшения, вновь изобретенное, удлиненное, укороченное, измененное“. Если он все же говорит, что „всего важнее знать толк в образном языке“, то тут же в следующих словах мотивирует почему: „из всех красот поэзии только ему одному нельзя научиться...“ и дальше тотчас

же переходит снова к „составным словам“, „изысканным“ и т. д. (стр. 89). Устанавливая общее понятие поэтического языка, он принимает во внимание все стороны речи, ведя анализ все время в плоскости сопоставления поэтического с повседневным, обыденным, общепринятым, общеупотребительным, свойственным обыденному разговору, и исходит в своем понимании поэтической речи от противуположения её обыденной; необходимо отметить, что в каждом данном явлении поэтической речи Аристотель считает необходимым и присутствие обыденного, поскольку им обусловливается ясность и возможность понимания; наблюденные же особенности поэтической речи, ее существенные признаки, Аристотель подводит под категорию „благородства“.

Еще раз подчеркиваю, что мы имеем у Аристотеля объективный и чисто речевой, я бы сказал именно лингвистический подход к делу; анализируя явление поэтической речи, он и подходит к ней с точки зрения речевых особенностей, не пытаясь делать посылки к понятию „поэтическая речь“ от внеречевых моментов, напр. от особых свойств мышления, от особого „устремления духа“ и пр. Этого далеко нельзя сказать о многих гораздо более поздних системах поэтики, в значительной

мере страдающих однобокостью и выдвиганием какого нибудь одного момента (напр. „образности“). Приходится бесконечно пожалеть, что до нас не дошли другие сочинения Аристотеля на эту тему и что даже „Поэтика“ дошла в своем сокращенном и конспективном варианте.

§ 10. Тщетно мы бы стали искать в научном языкознании младограмматического периода использования хотя бы гумбольдтовых разграничений, отмеченных выше. Для младограмматиков, Гумбольдт „оказал преимущественно только нравственное влияние на позднейших исследователей“ (Томсон, *Общее языковедение*, стр. 32) или его значение сводится к „окончательному перенесению исследования вопросов об общих условиях жизни языка... на почву психологии“ (Поржезинский, *Введение в языковедение*, изд. 3, М. 1913. стр. 22).

Вопрос о функциональном многообразии речи, затронутый Гумбольдтом, не всплывал, потому что казался не существенным при диалектологическом [1]) изучении языка (с чем разумеется нельзя согласиться: развитие функционального языкознания несомненно внесет многие поправки в построения „диалектологов“), а если с ним и приходилось стал-

---

[1]) Употребляю этот термин в значении, указанном в § 5.

киваться в порядке простого наблюдения языковых фактов, то по нем скользили, не останавливаясь, не считая соответственные факты подходящими объектами изучения. „Все языки и говоры, даже самых диких и некультурных народов, имеют одинаковую ценность для науки; последние во всяком случае более подходящие объекты научного исследования, чем литературные языки образованных народов, которые для лингвиста то же, что оранжерейные растения для ботаника [1])“ (!). Вообще „литературный язык“ это то понятие, которое особенно ярко подчеркивает необходимость функционального подхода к языку и с которым поэтому связано столько путаницы в языкознании. Я сошлюсь на некоторые места той же книги Томсона: в главе XI („Искусственные языки“) дается характеристика „общенародного языка“, „который является языком литературы, школы, администрации, деловых и частных сношений и пр. в образованном обществе данного народа... Но такой общенародный язык устного сношения образованного общества нельзя вполне отожествлять с языком литературы или вообще с письменным языком данного народа, так как в письменном изложении употребляются обыкновенно слова, выра-

[1]) Томсон; то же сочинение.

жения и конструкции „которые казались бы неестественными в устной речи“ (стр. 365 сл).

Сколько путаницы в этой небольшой цитате! Проф. Томсон просто „отделывается“ от „оранжерейного“ вопроса, впадая даже в самопротиворечие: „общенародный“ язык, который в начале объявляется и языком „литературы“ далее отъединяется от него („нельзя вполне (!) отожествить“).

Как характерно это „или“ между „языком литературы“ и „вообще письменным языком“; совершенно ясно, что в термин „язык литературы“ не вкладывается никакого точного содержания; термин „устная речь“ употребляется в смысле „разговорная речь“, так как иначе непонятно было бы место о „неестественности“. Действительно, приходится пожалуй пожалеть, что Гумбольдт оказал только „нравственное“ влияние на этого, в своей сфере очень знающего, очень тонко наблюдающего исследователя. В сущности, что касается функциональных разнообразий речи, научное языкознание находится еще в трогательном единении с школьной грамматикой, от которой оно же так рьяно в других пунктах открещивается: школьная грамматика, изучая, например, синтаксис „русского“ языка дает безразлично примеры и из разговорной речи, и из „прозы“, и из „стихов“; но научное

языкознание весьма недалеко ушло от нее, предполагая возможным изучение того же синтаксиса „литературного“ языка на материале Грибоедова или Гоголя.

Здесь все еще господствует полное смешение понятий.

Классическим примером путаницы является известный шифровой подсчет словаря „английского чернорабочего“, древнеперсидских надписей, „образованного человека с высшим образованием“, „пишущего мыслителя“, еврейского ветхого завета и Шекспира; шифровые данные о словаре этих „языков“ сопоставляются и предполагаются что-то показывающими, а между тем это, по существу, явный пример сопоставления несоизмеримых величин: это все равно, что складывать фунты с аршинами.

§ 11. Я не буду увеличивать примеров, где языкознание оказывается беспомощным перед фактами, благодаря игнорированию функциональных разнообразий; основное это то, что самая постановка вопроса в такой плоскости языкознанию чужда, что сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются. Как я уже отмечал, перед лингвистами он вставал тогда, когда лингвисты заинтересовывались вопросами поэзии, а это случалось не весьма часто. Здесь в русской лингвистике нужно

особенно отметить Потебню, который указал на существование „поэтических“ и „прозаических“ элементов в языке, что является с его стороны огромной заслугой, несмотря на не удовлетворяющую теперь разработку им этих вопросов.

Отмечу еще, что исследователи живых говоров, даже при своей лингвистической неподготовленности, иногда дают любопытный материал по интересующему нас вопросу; сюда относятся довольно многочисленные констатирования несовпадения словаря обиходной разговорной речи и поэтических произведений; правда, этот факт не осознавался, а если и объяснялся, то не по существу дела („архаичностью“ поэтического словаря, литературными влияниями, „бродячестью“ песен и пр.).

§ 12. Интерес и внимание к целевым многообразиям языка возник у нас в последнее время снова в связи с вопросами поэзии.

Он обсуждался в *Сборниках по теории поэтического языка* в. I (Петрогр. 1916) и в. II (1917), позже переизданных (с добавлениями) в виде сборника *Поэтика*, П. 1919.

Поскольку в центре внимания „Сборников“ стоял поэтический язык, постольку первоначально были выделены две функциональные разновидности языка: практический и поэтический язык,

причем классификационным моментом являлся — целевой (ср. *Поэтика*, стр. 12; 37 и др.); это различение сопровождалось психологической характеристикой обоих случаев, довольно поверхностной. Уже позже участникам „Сборников“ приходилось и в печати указывать, что термин „практический язык“ покрывает весьма разнообразные явления речи и что им нельзя пользоваться безоговорочно; указывалось на необходимость различения обиходного разговорного языка, языка научно-логического и пр. В этом отношении повидимому многое внес московский лингвистический кружок и в частности Р. Якобсон. О разграничениях московского кружка можно судить по книге Якобсона *Новейшая русская поэзия* (1921 г.) и по работе В. М. Жирмунского *Композиция лирических стихотворений* (Петр., 1921). К сожалению в обоих исследованиях эти вопросы затрагиваются мимоходом, и многое остается неясным.

Любопытно, что те функциональные различия, которые устанавливаются в вышеприведенных работах: разговорный язык, поэтический, научно-логический, ораторский — уже даны у Гумбольдта (см. выше).

§ 13. Вопросу о формах речевого высказывания посвящены дальнейшие страницы моей статьи. Я остановился именно на этом вопросе по следую-

щим причинам: во первых, он, при обсуждении факта многообразия речевых проявлений в последнее время, оставался как бы в тени, заслоненный моментом целевым (то, что в терминологии московского лингвистического кружка обозначается словами „функциональность речи“); во вторых, потому, что разграничение, основывающееся на различении форм высказывания, должно предшествовать другим, особенно целевым разграничениям по методологическим соображениям. Действительно, производя разграничения в области „целевой“, мы в сущности разграничиваем не языковые явления, а факторы этих явлений, и мы не можем сразу же дать хотя бы грубую проэкцию этих разграничений в область самой речи. Между тем в нашем случае, исходя из различения форм речи, мы от внеязыковой области факторов сразу перебрасываем мост к речевым явлениям, получаем возможность сразу же говорить, например, о различии сообщающих средств в той или иной разновидности, или сразу же противопоставить, как речевые явления, монолог и диалог.

Глава II. О формах речевого высказывания.

§ 14. Соответственно непосредственной форме человеческих взаимодействий

(„лицом к лицу“) мы имеем непосредственные формы речевых взаимодействий, характеризуемые непосредственным, в зрительном и слуховом отношении, восприятием высказывающегося лица. Соответственно посредственным взаимодействиям мы имеем в области речи, например, письменную форму высказывания.

Соответственно перемежающимся формам взаимодействий, подразумевающим сравнительно быструю смену акций и реакций взаимодействующих индивидов, мы имеем диалогическую форму речевого общения; соответственно длительной форме воздействия при общении, мы имеем монологическую форму речевого высказывания.

Диалогическая форма фактически почти всегда соединяется с непосредственной, но можно отметить некоторые особые случаи, когда этого нет или когда непосредственное восприятие осуществляется не вполне, в частности когда от непосредственного воспринимания отпадают весьма важные, как увидим дальше, зрительные восприятия; именно такой случай имеем при диалогическом общении в темноте, по телефону, через закрытые двери или стену и т. п. Особый случай имеем при диалогическом общении путем „записочек“ (напр. на заседании), когда на лицо редкое соединение

письменной, т. е. посредственной формы, с диалогической и вместе с тем с непосредственной, поскольку имеем зрительное восприятие собеседника.

Что касается письменной формы общения, то она главным образом выступает в соединении с монологической, за исключением случаев, указанных только что, или им подобных, но столь-же редких (например, возможный „диалог“ по телеграфу). При непосредственном взаимодействии возможны, конечно, и диалогическая и монологическая формы, и именно на этом случае может быть наиболее удобно их сравнительное изучение.

§ 15. В области непосредственного речевого общения мы имеем с одной стороны такие бесспорные случаи монологической речи, как речь на митинге, в суде и т. п.; с другой стороны, крайним случаем диалога является отрывистый и быстрый разговор на какие нибудь обыденные или деловые темы; для него будут характерны: сравнительно быстрый обмен речью, когда каждый компонент обмена является репликой, и одна реплика в высшей степени обусловлена другой; обмен происходит вне какого нибудь предварительного обдумывания; компоненты не имеют особой заданности; в построении реплик нет никакой предумышленной связанности, и они в высшей степени кратки.

Соответственно этому для крайнего случая монолога будет характерна длительность и обусловленная ею связанность, построенность речевого ряда; односторонний характер высказывания, не расчитанный на немедленную реплику; наличие заданности, предварительного обдумывания и пр.

Но между этими двумя случаями находится ряд промежуточных, центром которых является такой случай, когда диалог становится обменом монологами, например при обмене приветствиями или небольшими „речами" на каких нибудь церемониях, попеременного рассказа о впечатлениях, переживаниях или приключениях; в последнем случае в общем порядке речевого взаимодействия монологические куски иногда как бы аккомпанируются репликами. Именно случаи „монологического диалога", использованные в поэзии, дали то, что называют „ложным диалогом".

Между только что отмеченными случаями „монологического диалога" и разговором лежит то, что можно было бы назвать беседой, для которой характерны более медленный темп обмена, большая, сравнительно, величина компонентов и в связи с этим, может быть, большая построенность, обдумываемость речи; беседа характерным образом развивается в обстановке досуга, но возможна и деловая беседа, которая не позволяет говорить

собственно о досуге, но предполагает известное время для своего обнаружения.

§ 16. Из всех возможных соединений диалогической или монологической формы высказывания с формами непосредственной и посредственной социально более значимы, достаточно широко распространены следующие три соединения: диалогической формы с непосредственной, монологической с непосредственною же и монологической с посредственной, точнее с письменной (можно себе представить и другие „посредники" речи кроме письма). В настоящей *статье* я предполагаю говорить о диалогической непосредственной форме, прибегая, там где это необходимо, к сопоставлениям с другими. Само собой разумеется, что я ни в какой мере не расчитываю исчерпать этот сложный вопрос даже в общей его постановке [1]).

Глава III. О непосредственной форме.

§ 17. Зрительное и слуховое восприятие собеседника, отсутствующее при посредственном речевом общении и всегда присутствую-

[1]) Мне неизвестны лингвистические сочинения, посвященные исследованию диалога; имеется этюд Тарда — *Разговоры* в его книге *Личность и толпа.*

щее при обычных случаях диалога, имеет огромное значение, как фактор, определяющий восприятие речи, а следовательно и самое говорение.

Зрительное восприятие собеседника подразумевает восприятие его мимики, жестов, всех его телодвижений. Эти последние оказываются иногда сами по себе достаточными для осуществления некоторого взаимодействия и взаимопонимания; многие явления „передачи мыслей на расстояние" объясняются именно восприятием мимики и пантомимы, которые, как это и общеизвестно, являются своего рода „языком". Театральная „пантомима" есть ничто иное, как сгущённое и художественное использование общебытового явления. В соединении с речевым обменом эта роль зрительного восприятия, конечно, остается и иногда превалирует, причем разговор в таких случаях, по выражению Тарда, является лишь „дополнением к бросаемым друг на друга взглядам" и пр. Мы очень мало учитываем это значение мимики и жеста при непосредственном, и особенно диалогическом, общении, но оно очень велико. Я приведу примеры из *Анны Карениной* Толстого, иллюстрирующие это явление.

„Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял „кончается" в смысле — уми-

рает" (II, 360). Здесь понимание смысла слова (вернее — предложения) определяется восприятием лица собеседника.

„Я одно хочу сказать... — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь" (стр. 60).

„Но как же вы устроились?... начала было Долли вопрос о том, какое имя будет носить девочка, но, заметив вдруг нахмурившееся лицо Анны, она переменила смысл вопроса".

§ 18. Мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, заменяя словесное выражение. Часто мимическая реплика дает ответ раньше, чем речевая; один из собеседников только хочет возразить, собирается говорить, а другой, учитывая его мимику и позыв к реплике, довольствуется этой мимической репликой, произносит что нибудь вроде: „нет, постойте, я знаю, что вы хотите сказать" — и продолжает дальше. Сплошь и рядом мимическая или жестикуляционная реплика вовсе не требует речевого „дополнения".

С другой стороны мимика и жесты имеют часто значение, сходное с значением интонации, т. е. определенным образом модифицируют значения слов. Подобно тому, как данная фраза может иметь разное значение в зависимости от той интонации, с которой мы её произносим, подобно этому

и мимическое (и жестикуляционное) сопровождение может придавать речи тот или иной оттенок, часто противоположный обычному. Мы можем говорить о мимическом, пантомимическом и жестикуляционном „интонировании“.

Мимика и жест, являясь постоянным спутником всяких реагирований человека, оказываются постоянным и могучим сообщающим средством. При непосредственном общении, речевое обнаружение всегда соединяется с мимико-жестикуляционным.

§ 19. Когда смотришь на сцену в бинокль, не только лучше видишь, но и лучше слышишь и понимаешь, потому что лучше видишь, лучше узнаешь в чем дело, следя за мимикой и жестами. Так же обстоит дело и при слушании оратора; особые места для оратора (кафедры, трибуны) обуславливают не только то, что оратора лучше слышно, но и то, что его лучше видно; когда на оратора смотришь в бинокль, тоже лучше слышишь и понимаешь.

Мы инстинктивно говорим смотря друг на друга; ребенок часто поворачивает ручками лицо матери, когда говорит и ждет ответа. Именно это инстинктивное стремление видеть друг друга при разговоре и использовать таким образом все возможности понимания послужило, по моему, одной из причин

обычая о „неприличности“ сидеть спиной к кому нибудь в гостиной, которая и есть место для беседы.

Мимика и жесты не являются чем то посторонним, привходящим, случайным при разговоре, но, наоборот, — сросшимся с ним; даже при диалоге по телефону, когда нет зрительного восприятия собеседника, мимика и жесты часто осуществляются.

§ 20. Очень большое значение при самом говорении имеет восприятие мимики заинтересованности или незаинтересованности, внимания или невнимания, увлечения или скуки, так как в связи с этим определяется большая или меньшая интенсивность речи, облегчается ассоциирование, скорее находятся нужные и удачные выражения, одним словом увеличивается „красноречие“ (как при диалоге, так и при монологе); это явление каждый, конечно, наблюдал на себе: тонус речи, „температура“ речи различна в зависимости от того, насколько говорящий „подогревается“ или „охлаждается“ мимикой слушающего; когда тебя слушают и хорошо слушают процесс речи облегчается.

§ 21. Не приходится особенно настаивать на том значении, которое имеет при непосредственном общении слуховое восприятие собеседника; обще-

известна огромная сообщающая роль, которую играют отношения силового, интонационного и тембрового порядка при восприятии чужой речи; лишь в ничтожной степени они могут быть учтены при посредственной передаче в письме. Здесь речь идет не о тех силовых, интонационных и тембровых отношениях, которые присущи говорению на данном языке вообще, входят в общую сумму его шаблонов (такие отношения могут воспроизводиться и при восприятии письменной речи в силу привычной ассоциации; иногда они изображаются знаками, напр. повышение тона в некоторых случаях „перед запятой", вопросительная интонация и т. п.), но о таких случаях интонирования и пр., когда в речь привносятся различные смысловые, в частности эмоциональные, оттенки, и указанные отношения имеют специальное сообщающее значение, определяя собою понимание данной чужой речи и часто лучше и полнее обнаруживая данное душевное состояние, чем сами слова с их реальными значениями.

Я приведу отрывок из *Дневника Писателя* Достоевского за 1873 год (глава „Маленькие картинки"), где имеется блестящая иллюстрация к только что сказанному. Достоевский рассуждает о языке пьяных и говорит, что язык этот „просто за просто название одного нелексиконного существительного".

„Однажды в воскресенье“, продолжает он, „уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить о чем-то, о чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле, — именно, в смысле полного сомнения в правильности отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодавание против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодавании на третьего, на обидчика, и останавливает в таком смысле: „что, дескать, что же ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать“! И вот, всю эту мысль он проговорил тем же самым словом, одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве

что только поднял руки и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть, вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из за которого вышел спор, в восторге приподнимая руку, кричит... Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не „показалось" и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: „чего орешь, глотку дерешь"! И так, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем".

§ 22. В связи с вышеуказанным о значении тона и тембра, мне хотелось бы сделать следующее замечание: тон и тембр речи говорящего, еще в начале ее, заставляют нас занять опреде-

ленное положение, определенным образом настроиться по отношению к говорящему и его высказыванию; мы воспринимаем его высказывание в плоскости этой „настройки“. Иногда первые же слова своим тоном заставляют нас как то по особенному насторожиться, враждебно или сочувственно или в каком нибудь ином направлении, т. е. обуславливают апперцепционность восприятия, создают в нас „точку зрения“, с которой мы разсматриваем дальнейшее; иногда первые же слова своим тоном возбуждают в нас решительное отталкивание („я и слушать вас дальше не хочу“), иногда, наоборот, подкупают. Нужно сказать, что и зрительное восприятие собеседника имеет отчасти такое же значение.

Непосредственное восприятие собеседника (его тона, мимики и пр.) иногда сразу же дают момент узнавания, чувство знакомости с собеседником, и точно также определяет легкость дальнейшего восприятия.

Роль мимики и пантомимы, с одной стороны, и тона, тембра с другой тем более важны в условиях непосредственного общения, что они теснейшим образом связаны друг с другом, взаимно определяются и имеют общий „исток“ в виде определенного телесного уклада, соответствующего данному интеллектуально-эмоциональному состоянию.

Это обстоятельство особенно подчеркнуто с иллюстрацией разнообразными конкретными примерами в книге Озаровского — *Музыка живого слова*, стр. 100 и след.; Озаровский указывает, что именно тон, тембр — рождаются из мимики; в общем он несомненно прав, а за подробностями отсылаю к его книге.

§ 23. Является вопрос, в каком случае отмеченные мимико-жестикуляционные и тембровые, интонационные и силовые моменты играют большую роль — при диалоге или при монологе? Мне представляется, что, несомненно, при диалоге. В самом деле, при диалоге, они, по самому существу этой формы общения, в высшей степени обоюдны, кроме того, при диалоге они в неизмеримо большей степени разнообразны. Монолог никогда не может быть дополнением к мимико-жестикуляционным сообщениям, а диалог действительно бывает таким дополнением, и замечание Тарда по этому поводу верно.

§ 24. Мы отметили в кратких чертах, какое значение имеют при непосредственном речевом общении зрительное и слуховое восприятие высказывающегося; значение это вообще сводится к тому, что при непосредственном общении в зависимости от наличности зрительного восприятия роль речевого раздражения более или менее значительно

умаляется, так как восприятие и понимание речи слагается в результате воздействия как речевых раздражений вообще, так и зрительных. В связи с этим и в самом процессе говорения само „речевое“ не является предметом какого нибудь исключительного внимания, так как есть бессознательный или сознательный „расчет“ на действенность мимики и жеста.

В зависимости от наличия восприятия интонации, тембра и пр.. умаляется значение слов, как таковых, речи, как таковой, или, вернее, тех её сторон, которые не покрываются этими моментами, и это также сказывается на процессе высказывания в том же направлени, как и в случае с мимикой. То, что было сказано об определяемости апперцепционного момента восприятия и понимания условиями непосредственного общения, влияет в этом же направлении, так как усиление апперцепционности восприятия, т. е. стороны его, определяющейся не наличным раздражением, соответственно умаляет значение этого раздражения.

Все эти соображения указывают на то, что при прочих равных условиях высказывание при непосредственном речевом общении вообще в большей степени способно протекать в порядке простого волевого акта, чем при посредственном, в большей

степени способно протекать вне контроля сознания и внимания. Но так как зрительное и слуховое восприятие собеседника играет большую роль при диалоге, то этот наш вывод должен быть особенно подчеркнут для диалогического непосредственного речевого общения.

Глава IV. Об естественности диалога и искусственности монолога.

§ 25. Наиболее вдумчивые лингвисты, особенно те из них, которые имели дело с живыми диалектами, часто сознавали необходимость какой то „теории“ по поводу диалога и монолога. Особенно отчетливо подчеркнул всю важность различения диалогической и монологической формы для изучения явлений языка проф. Л. В. Щерба в своем исследовании *Восточно-лужицкое наречие*. Я позволю себе процитировать некоторые его замечания: „припоминая время, проведенное мною среди этих полукрестьян, полуфабричных, я с удивлением констатирую тот факт, что я никогда не слышал монологов, а только отрывочные диалоги. Бывали случаи, что при мне люди ездили в Лейпциг на выставку, по делам в окрестные города и т. п., но никто никогда не рассказывал о своих впечатлениях: дело ограничива-

лось обыкновенно более или менее оживленным диалогом. И это не от некультурности, а скорей, может быть, наоборот, от чрезмерной „культурности“, вечной погони за новыми поверхностными впечатлениями и некоей торопливости, отличающей фабричных от настоящих крестьян“ и дальше: „все эти наблюдения лишний раз показывают, что монолог является в значительной степени искусственной языковой формой, и что подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге“ [1]).

В этой цитате проф. Щерба выступает определенным „диалогистом“; очень любопытно его указание на связь между характером быта и экономическим строем общества с одной стороны и распространением диалогической формы за счет монологической с другой, но особенно значительно здесь констатирование такой лингвистической группы, которая не знает монолога, и утверждение диалога, как естественной формы речи в противоположность искусственности монолога.

Первое обстоятельство определяет важность изучения диалогической формы, как всеобщей:

---

[1]) Л. В. Щерба. *Восточно-лужицкое наречие* т. I, Петроград 1915, стр. 3 и 4 приложения; разрядка везде моя.

нет речевых взаимодействий вообще там, где нет диалога, но есть такие взаимодействующие группы, которые знают только диалогическую форму, не зная монологической.

Что касается второго замечания Л. В. Щербы, то мне хотелось бы остановиться на нем подробнее, как потому, что здесь отмечено, на мой взгляд, очень важное и существенное обстоятельство, так и потому, с другой стороны, что слова искусственное и естественное не таковы, чтобы ими можно было пользоваться без более или менее подробных пояснений, а этого последнего у Л. В. Щербы нет, по той причине, что о диалоге и монологе он говорит лишь попутно, отчасти в „примечании".

§ 26. В сущности, всякое взаимодействие людей есть именно взаимо-действие; оно по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, „диалогичным" и бежит „монолога".

Всякое одностороннее воздействие, поскольку оно является чем то подлежащим человеческому восприятию, вызывает в нем ряд более или менее сильных реакций, которые стремятся обнаружиться. Так-же дело обстоит и с речевым монологическим воздействием, причем в этом случае возникающие в порядке восприятия реакции (наше отношение, оценка и пр.) стремятся обнаружиться, естественно, в речи. Здесь играют роль три момента: во пер-

вых, общее свойство нашего организма так или иначе реагировать на всякое воздействие; во вторых, тесная связь между нашими представлениями, суждениями, эмоциями и т. п. (в частности возникающими и в реакционном порядке) и речевым обнаружением, и, наконец, в третьих, и в особенности, способность речевой акции вызывать речевую же реакцию, причем это обстоятельство часто имеет почти рефлекторный характер.

Подобно тому, как вопрос почти непроизвольно, „естественно", в силу постоянной ассоциации между мыслями и выговариванием, рождает ответ (почему нельзя задавать вопросов и просто обращаться к людям, у которых пища во рту: именно в силу естественной рождаемости вопросом ответа, репликой — реплики, они непременно начнут отвечать до того, как проглотят пищу, поперхнутся или подавятся), подобно этому и всякое речевое раздражение, как бы непрерывно длительно оно не было, возбуждая, как свою реакцию, мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое реагирование.

То, что я говорю, не есть выдумка, а факт, удостоверяемый наблюдениями. Мне особенно приходилось убеждаться в правильности выше сказанного в последнее время в обществе нескольких знакомых (всего четырех человек), собиравшихся

иногда для беседы на научные темы, для заслушивания небольших докладов. Люди были „воспитанные“, собирались именно для того, чтобы заслушать доклад, и однако это „заслушивание“, особенно, когда оно действительно бывало внимательно, постоянно превращалось в сплошное прерывание докладчика; его „монолог“ постоянно прерывался репликами, переходившими в общий разговор, особенно если докладчик не протестовал; „прения“ после доклада превращались во взаимное прерывание; хотя собеседники и старались говорить по очереди, но „очередь“, как „искусственное“ построение ничего не могла поделать с естественным стремлением к диалогу. Даже, если кто молчал, то по лицу бывало видно, как хочет говорить; иногда начинает, — уже губы двигаются, — но подавляет естественное стремление усилием и молчит; иногда молчащие переглядываются и мимируют, слушая другого; иногда что то „промыкивают“ про себя: до такой степени звук „лезет изо рта“.

§ 27. Недаром говорят, что нужно уметь слушать другого, нужно научиться слушать, — прерывать другого не нужно уметь, потому что это естественно. Зато прерывать другого — невежливо, т. е. здесь, как и в других случаях, необходимые, но не встречающие поддержки в естественных склонностях человеческого организма,

социальные формы, поддерживаются, мотивируются категорией „приличного“ и „неприличного“, „вежливого“ и „невежливого“.

Для того, чтобы люди слушали монолог, необходимы, обыкновенно, определенные привходящие условия, например организация собрания с очередью, с предоставлением „слова“, с председателем, да и то здесь всегда на лицо „голоса с мест“.

Если обратить внимание на то, как осуществляется речевое взаимодействие на „собрании“, то легко заметить, что и здесь обнаруживается стремление к диалогу, к реплицированию; это реплицирование выражается во внутренней речи, которой сопровождается слушание „доклада“; оно часто закрепляется в различных заметках на бумаге, и последующие „прения“ являются лишь систематизированным, а иногда и обрывочным, обнаружением внутреннего реплицирования, сопровождавшего восприятие монолога. Таким образом здесь происходит как бы смещение обычных условий диалога, вызванное особыми искусственными обстоятельствами (в частности количеством участвующих в данном взаимодействии людей). Часто на „собрании“ параллельно с монологическим высказыванием докладчика идет оживленный диалог „слушающих“ или шопотом или „записочками“

(я не имею ввиду „посторонних“ разговоров); звонок председателя в данном случае есть знак искусственности монолога.

Слушание монолога часто регулируется (кроме отмеченных моментов организованности собрания и пр.) количеством собравшихся людей, которое, если оно велико, ведет, в силу естественного для каждого стремления к „прерыванию“, к окончательному „галдежу“, который тоже „естественным“ образом постепенно парализует либо прерывание, либо самое собрание, если ему не будет придан организованный характер; общеизвестно, что, например, сборища молодежи постоянно кончаются „галдежом“, и наконец требованием „выбрать председателя“ и вести „собрание“.

§ 28. Случаи „беседы-собрания“ свойственны обществу на определенном уровне культуры; в другой обстановке слушание монолога определяется другими обстоятельствами, имеющими значение, впрочем, и для всякого культурного уровня: обычаем, церемонией, ритуалом. Слушают того, кто имеет власть или пользуется особым авторитетом, вообще в обстановке внушающего воздействия, подразумевающего известную пассивность восприятия или преимущественно сочувственное реагирование, когда прорываются главным образом „поддакивающие“ реплики. Особенно нужно под-

черкнуть связь монологизирования с авторитетностью, ритуалом, церемонией и пр., так как здесь определяется возможность, в общей плоскости внушающего воздействия, влияния монологической устной речи на речь вообще, в частности и на диалогические речевые проявления, что немаловажно между прочим и для генетического изучения языка (само собой разумеется, что внушающее воздействие может происходить и в плоскости диалога). Иногда монологизирование осуществляется благодаря особой интересности, захватываемости своего содержания и вызывает реакцию удивления, когда все сидят и слушают „раскрыв рты“ и действительно молчат.

Любопытно, что даже восприятие письменного монолога (книга, статья) вызывает прерывание и реплицирование, иногда мысленное, иногда вслух, а иногда и письменное — ввиде отчеркиваний, заметок на полях, вкладных листков и пр.

§ 29. Затронутый здесь вопрос о естественности диалога, об искусственности монолога, о прерывании монолога и обусловленности его обнаружения различными привходящими факторами, очень сложен и важен и требует, конечно, более подробного освещения, чем то, которое здесь дано в связи с цитированными мыслями Л. В. Щербы. Во всяком случае мне хотелось бы отметить, что применение

слов „естественное“ и „искусственное“ в отношении монолога и диалога имеет несомненно условный характер; и монолог и диалог в конце концов являются одинаково естественными проявлениями того или иного социального строя, как естественны в этом отношении и те причины, которые вызывают самое существование монолога и те привходящие факторы, которые обуславливают возможность его обнаружения. Естественность диалога можно утверждать главным образом в том смысле, что он соответствует, как смена акций и реакций, таким социальным фактам взаимодействий, в которых социальное ближе всего подходит к биологическому (психо-физиологическому). Диалог, являясь несомненным явлением „культуры“, в то-же время в большей мере явление „природы“, чем монолог.

Глава V. Замечания о диалоге сравнительно с устным и письменным монологом.

§ 30. Для диалога характерно реплицирование; говорение данного собеседника чередуется с говорением другого (или других), это чередование происходит либо в порядке смены (один „кончил“, другой „начинает“ и т. д.), либо в порядке прерывания, что очень обычно, особенно при эмоциональном диалоге. Но в некотором отно-

шении можно говорить, что именно взаимное прерывание характерно для диалога вообще.

Прежде всего, это можно утверждать в том смысле, что прерывание потенциально всегда присутствует при диалоге; как возможность, но возможность вполне реальная, известная из опыта, она в высшей степени определяет весь процесс говорения. Ожидание этого „перебоя", высказывание с расчетом на тут же находящегося, готовящегося к реплике собеседника, известная боязнь, что не доскажешь то, что хочешь сказать,— характерно определяют наше говорение при диалоге. В связи с этим, при прочих равных условиях, темп речи при диалоге более быстр, чем при монологе.

Кроме того, можно говорить о моменте прерываемости при диалоге в том смысле, что каждое данное говорение вообще не есть нечто конченное с точки зрения говорящего: оно предполагает продолжение, следующее за встречной репликой; в этом отношении каждая смена моей реплики репликой собеседника есть перерыв до следующего моего вступления в диалог. Кроме того, хотя каждая реплика и есть нечто своеобразное, обусловленное репликой собеседника, но вместе с тем она есть элемент общего моего высказывания в обстановке данного диалога, кото-

рому соответствует и некоторая общая направленность мыслей и чувств, высказываемых мною; в этом смысле, смена реплик есть также перерыв; модифицируя сказанное в начале этого параграфа, можно утверждать, что вообще при диалоге смена реплик происходит так, что один „еще не кончил", а другой „продолжает".

Только что отмеченное обстоятельство также обуславливает сравнительную быстроту темпа речи. Но быстрота темпа речи не является моментом, благоприятствующим протеканию речевой деятельности в порядке сложного волевого действия, т. е. с обдумыванием, борьбой мотивов, выбором и пр.; наоборот, быстрота темпа речи скорее предполагает протекание ее, в порядке простого волевого действия и притом с привычными элементами. Это последнее констатируется для диалога простым наблюдением; действительно, в отличие от монолога (и особенно письменного), диалогическое общение подразумевает высказывание „сразу" и даже „лишь бы", „как попало"; только в некоторых особых случаях, которые и сознаются нами, как особые, мы констатируем при диалоге обдумывание, выбор и т. д.

Медленность темпа речи собеседника при разговоре, объясняющаяся или его индивидуальными особенностями, или целевыми моментами, вообще

действует раздражающе, ощущается, как нечто мешающее, неприемлемое; может быть не такое значительное абсолютно, это замедление воспринимается преувеличенно именно в связи с моментом реплицирования.

§ 31. Реплики при диалоге обычно следуют одна за другой, как было отмечено выше, не только в порядке чередования, но и в порядке прерывания. Во всяком случае, какова бы ни была подготовка к высказыванию, она обыкновенно происходит одновременно с восприятием чужой речи; интервал между двумя моими последовательными репликами должен быть использован мною и для восприятия и понимания речи собеседника и для подготовки (тематической и речевой) моего ответа ему. Совпадения этих двух моментов нет при осуществлении речи в порядке монолога. Это обстоятельство чрезвычайно существенно, потому что, при известной узости нашего сознания, двойственность „задач", встающих перед нами в промежутке между двумя репликами, приводит к более ослабленному переживанию каждого из двух моментов (восприятия и понимания чужой речи и подготовки моего ответа); но так как, с одной стороны, восприятие речи собеседника должно объективно предшествовать „подготовке" ответа, а с другой стороны наше вни-

мание естественным образом скорее склонно сосредотачиваться на „содержании“, на тематизме ответа, чем на его речевой „форме“, то для подготовки самого высказывания, для выбора речевых фактов, для обдумывания их — времени обычно не остается; речевое протекает как простой волевой акт или как идеомоторное действие; мы приходим, следовательно, к тому же выводу, что и в предыдущем параграфе.

§ 32. Навстречу этой тенденции диалогической речи протекать в порядке простого волевого действия идет следующее явление, коренящееся в самом существе диалога. Я говорю о количестве употребляемых слов, т. е. о большей или меньшей объективной сложности речи. Общеизвестно, что ответ на вопрос требует значительно меньшего количества слов, чем это следовало бы для полного обнаружения данного мыслимого целого: „Ты пойдешь гулять?“, — „Да (я пойду гулять)“, „Может быть [пойду (гулять)]“ и т. д. Диалог, конечно, не есть обмен вопросами и ответами, но в известной мере при всяком диалоге налицо эта возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны были бы быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи или в начальном члене диалога.

§ 33. В противоположность композиционной простоте диалога, монолог представляет собой определенную композиционную сложность; самый момент некоторого сложного расположения речевого материала играет громадную роль и вводит речевые факты в светлое поле сознания, внимание гораздо легче на них сосредотачивается. Монолог не только подразумевает адекватность выражающих средств данному психическому состоянию, но выдвигает, как нечто самостоятельное, именно расположение, компонирование речевых единиц. Появляется оценка по поводу чисто речевых отношений: „связно", „складно", „нескладно", „повторяется одно и то же слово на близком расстоянии", „слишком много — „который", „порядок слов нехорош" и т. д. Здесь речевые отношения становятся определителями, источниками появляющихся в сознании по поводу них самих переживаний. Несколько туманное, но очень реальное понятие „закругленности фразы", независимо от смысла, влияет на словоупотребление и, например, заставляет прибавлять слова там, где их, может быть, не нужно было прибавлять. На этой же почве возникают всевозможные явления синтаксического паралелизма и симметрии, так как сложность

естественно вызывает какую-то организацию, построение.

§ 34 Письменная монологическая речь еще в большей мере должна быть противопоставлена диалогической. Те моменты мимики, жеста, интонации, вообще непосредственное восприятие собеседника и связанные с этим особенности в понимании речи, которые характерны для диалогической и отчасти монологической устной речи, здесь отпадают. Понимание производится за счет слов и их сочетаний. Если диалог, как было отмечено выше, по самому существу, не способствует протеканию речевого процесса в порядке сложной деятельности, то, наоборот, при прочих равных условиях, письменная монологическая форма этой сложности особенно способствует и не только по тем причинам, которые свойственны ей, как монологической, но именно в связи с „письмом", с посредственным общением.

Письменная речь является речью закрепляемой в порядке ее осуществления; в результате остается, таким образом, нечто пребывающее, некоторое произведение. Закрепляемость письменной речи влечет более внимательное отношение к речевым фактам с точки зрения их адекватности данным нашим психическим состояниям;

поговорка „что написано пером, того не вырубишь топором“ имеет большие психологические основания и непосредственные следствия для обращения с речевыми фактами при письменной речи. В связи с отсутствием восприятия собеседника и только что отмеченным моментом закрепления, письменная речь вовсе не предполагает умаления значения собственно речевых фактов; наоборот, известный отбор выразительных средств, известное обсуждение всегда налицо, и речевая деятельность определяется, как сложная.

Естественный уклон к просматриванию того, что написал, и к поправкам сказывается даже в таких простых случаях, как записка или резолюция на просьбе; на этом же основано и пользование черновиком; путь от „начерно“ к „набело“ и есть путь сложной деятельности; но даже при отсутствии фактического черновика момент обдумывания в письменной речи очень силен; мы очень часто сперва скажем „про себя“, а потом пишем; здесь на лицо „мысленный“ черновик.

Глава VI. Апперцепционный момент в восприятии речи.

§ 35. Известно французское выражение „esprit mal tourné“, которое применяется к человеку,

понимающему все, что ни услышит, в дурном, „неприличном“ смысле. Можно сказать, что мы вообще понимаем или не понимаем то, что нам говорят, а, если понимаем, то в том или другом определенном смысле, лишь в зависимости от того, что у нас „esprit tourné“—„ум направлен“ в том или ином отношении. Переводя это замечание на научный язык, мы можем сказать, что наше восприятие и понимание чужой речи (как и всякое восприятие) апперцепционно: оно определяется не только (а часто и не столько) внешним речевым раздражением, но и всем прежде бывшим нашим внутренним и внешним опытом и, в конечном счете, содержанием психики воспринимающего в момент восприятия; это содержание психики составляет „апперцепирующую массу“ данного индивида, которой он и ассимилирует внешнее раздражение.

§ 36. Апперцепцирующая масса, определяющая наше восприятие, включает в себя элементы постоянные и устойчивые, которыми мы обязаны постоянным и повторяющимся влияниям свойственной нам среды (или сред) и элементы преходящие, возникающие в условиях момента. Основными являются несомненно первые, вторые же возникают на фоне первых, модифицируя и осложняя их. Составной частью

первых являются прежде всего, конечно, речевые элементы, то есть, по просту, знание данного языка, владение его разнообразными шаблонами.

Далее я высказываю несколько соображений по поводу значения внеречевых элементов апперцепирующей массы при восприятии речи.

§ 37. Всем известна игра, заключающаяся в том, что пишутся слова в неполном составе, пропущенные буквы заменяются черточками и вместо этих черточек предлагается поставить буквы так, чтобы было реконструировано все слово. Часто возможна подстановка разных букв, причем угадывающий ставит ту или иную букву, конечно, не случайно, но обнаруживая при этом содержание своей апперцепционной массы. В слове „ду—а" можно подставить и „р" и „ш" и „м" и „г", и в каждом отдельном случае та или иная подстановка будет определяться апперцепционным моментом, постоянным или преходящим. Принципиально правильно известное „наблюдение", что слово „под — о — ный" моряк прочтет — „подводный", врач — „подкожный", и другие профессионалы: „подзорный", „подробный", „поддонный", „подложный" и т. д.

Разнообразные сокращения являются также показательным материалом для иллюстрации апперцепционности воспрятия речи. Когда мы читаем

сокращенное обозначение имени и отчества (А. М. Иванов), расшифровывая это сокращение, то читаем „Анатолий Матвеевич“ или „Александр Михайлович“ в зависимости от содержания нашей апперцепирующей массы. Именно эта возможность разной дешифровки сокращений в широкой мере использовалась и в наши дни и раньше в комических целях. В одном водевиле Лябиша некая чета уезжает на дачу в местность „Chevreuse“ и делает прощальные визиты; жена надписывает на визитных карточках „P. P. C.“ („pour prendre congé“), а муж, неискушонный в тонкостях светских обычаев, читает „P. P. C.“, как „partant pour Chevreuse“ и защищает свое чтение, пока жена не убеждает его тем, что, уезжая в Версаль пришлось бы писать „P. P. V.“; впрочем муж окончательно убеждается лишь потому, что в последнем случае можно читать „V“ не только, как „Versailles“, но и как „Ville-d'Avray“ или „Venise“. Эта же расшифровка сокращений лежит и в основе игры „секретэр“, когда переписываются друг с другом начальными буквами слов; здесь понимание осуществляется при некотором тождестве апперцепирующих масс переписывающихся, позволяющем осуществить правильную догадку, или же при шаблонности темы самого высказывания. На этом последнем основаны сокращения

типа газетных объявлений; сама шаблонность темы высказывания есть, само собой разумеется, случай проявления воздействия апперцепирующей массы.

Все эти случаи с сокращениями и пропусками букв имеют значение большее, чем просто курьёзные примеры, так как при обычном восприятии слов в речи, мы также воспринимаем не все элементы слова, а лишь некоторые, восполняя остальное „догадкой“, основанной на ассимиляции апперцепирующей массой, непосредственно определенной предшествующим восприятию данного слова речевым рядом.

§ 38. Приведу ряд примеров, иллюстрирующих то положение, что зачастую мы воспринимаем и понимаем чужую речь неправильно в зависимости от тех мыслей, чувств, желаний и пр., которые почему либо преобладают в данный момент в нашей психике (явно или скрытно для сознания).

Случай 1. Я служил в Петрограде; однажды заболев, я остался в Петергофе у родных, куда мне привозили с места службы „паёк“, обыкновенно в приготовленном виде. Однажды, среди привезенного оказался небольшой пакет, мягкий на ощупь. Я сразу же подумал, что это масло, которого давно не „выдавали“, и спросил у привезшего, что это такое; мне ответили: „форшмак“,

но я определенно не услышал ответа, и лишь развернув пакет и увидев, что это был форшмак, как бы вспомнил, что мне действительно ответили этим словом.

Здесь, сразу возникшая мысль о масле определила невосприятие или вернее неосознание данного речевого раздражения.

Случай 2. Мой сожитель пришел со службы очень голодный, поджарил картошки и понес к себе; я тоже захотел есть и спрашиваю, можно-ли еще поджарить картошку (т. е. топится ли плитка), он отвечает „нет", „догадавшись" по началу фразы „можно-ли", что я прошу у него картошки; плитка же еще топилась. Здесь определяющим неправильное восприятие моментом явилось чувство голода.

Случай 3. На Исаакиевской площади проходила воинская часть, раздалась команда „на месте!"; один из стоявших на тротуаре подростков удивленно переспросил другого: „маэстро?".

Это неправильное восприятие объясняется с одной стороны малой знакомостью для подростка команды „на месте", с другой же активностью слова „маэстро", которое он, очевидно, почерпнул из обихода кинематографа, где этим словом пользуются куплетисты, обращаясь к руководителю „оркестра" или просто к играющей на рояли

„барышне“, переходя от разговорной части своего номера к пению.

Случай 4. Я бегал по книжным магазинам в поисках книг по истории Сербии; наконец, на одном прилавке я нашел книгу, на обложке которой прочел „История Сербии“; я взял книгу и направился к приказчику, но уже по дороге увидел, что это была „История Сибири“.

Случай 5. В последнее время мне пришлось заниматься изучением карты Балканского полуострова в поисках следов албанского населения в тех местах, где теперь албанцев нет; в памяти я все время держал группу албанских слов, особенно часто встречающихся в местных названиях Албании, и по направлению к этим словам делал многочисленные очитки, напр. вместо „Бодрово“ читал „Кодрово“ (от алб. „кодре“—холм) и т. п.

Случай 6. „Ревность его (Левина). . . . . уже далеко ушла. Теперь, слушая ее слова, он их понимал уже по своему . . . . . Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так . . . . “ (Анна Каренина, II, 180).

Случай 7. „Кончается, — сказал доктор. И лицо доктора было так серьезно, когда он говорил это, что Левин понял „кончается“ в смысле—умирает“ (ib; 360). В этом случае понимание слова „кончается“ определяется не только выражением

лица доктора [1]), но и сильным страхом Левина перед возможным плохим „концом“.

Случай 8. „Когда я однажды читал приводимые примеры вместе с еще другими моему другу X., причем предыдущий пример был в числе последних, X. воспринял его начальное слово „кончается“ в смысле „кончается перечисление примеров“, хотя интонация моего голоса не давала на это права; такое понимание слова „кончается“ объясняется тем, что X. только и ждал, чтобы примеры „кончились“, потому что ему надоело их слушать.

§ 39. Если мы думаем о „другом“, то мы не только плохо воспринимаем и понимаем то, что нам говорят, но часто совсем не понимаем и не воспринимаем („не слышим“). Наличия речевого раздражения, таким образом, недостаточно для того, что мы называем восприятием и пониманием речи. Мы должны думать о „том же“, о чем нам говорят; мы должны по крайней мере занять некоторое нейтральное положение по отношению к воспринимаемому высказыванию.

Зерно внешнего речевого раздражения должно упасть на подготовленную почву, лишь тогда оно

---

[1]) В этом смысле данный пример уже был истолкован нами выше.

прорастает. Широко распространенные в нашей речи слова и выражения типа „обращений“, с которых начинается разговор („виноват, скажите пожалуйста . . .“, „Иван Петрович . . .“ и т. п.) играют в этом отношении роль предупредительного сигнала о начинающемся высказывании, подготавливают „почву“. Известно, как трудно бывает понять собеседника, когда его высказывание выходит по своему содержанию за пределы того, о чем только что говорили, или оратора, когда он начинает говорить не по „вопросу“: его в таких случаях перебивают возгласами: „в чем дело?“, „не понимаю, о чем он“ и т. д.; собеседник должен в таких случаях подать дополнительный сигнал вроде: „я, собственно, хочу о другом“.

Заглавие статей, являющихся своего рода сигналами, настраивающими на определенный лад наше восприятие дальнейшего, в случае своей неудачности затрудняют это восприятие. Мне пришлось наблюдать очень курьезные случаи неожиданного восприятия рассказа (в одном ученическом журнале), озаглавленного автором „в шутку“ — „Хорь и Калиныч“, в то время как он не имел ничего общего с тургеневским рассказом. Любопытные случаи с пониманием чужой речи можно наблюдать на концертах, идущих не по программе и без предупреждения об этом: здесь иногда слу-

шатель лишь через известный промежуток времени догадывается, что это „не то", а до этого он воспринимал слышимое в связи с неправильно поданным сигналом программы.

Полное непонимание и невосприятие речи мы имеем иногда при чтении, когда, отвлеченные какой нибудь посторонней мыслью, продолжаем „читать", т. е. пробегать строки глазами, но без всякого толку.

Ниже я привожу два примера из „Анны Карениной" Толстого, иллюстрирующие связь между восприятием и пониманием речи и подготовленностью сознания.

1. „Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити . . . . . Степан Аркадиевич дорогой сочинял меню обеда. — Ты ведь любишь тюрбо? сказал он Левину подъезжая. — Что? переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо (разрядка Толстого). [1]) (стр. 44).

В нашем примере, Левин всем ходом своих предшествующих мыслей не был подготовлен к вопросу о „тюрбо", поэтому он сделал два пере-

---

[1]) Ссылки на „Аниу Каренину" производятся по изданию „Журнала для всех", П. 1916. Ссылки на т. I. сопровождаются только указанием страницы.

спроса („что“ и „тюрбо“), а затем и ответил, но ответ его носил явно механический характер, что и подчеркнуто Толстым в гиперболическом слове „ужасно“.

2. Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа,—сказала она (Бетси) . . . . . — О да! — сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что ей говорила Бетси“ (стр. 177).

Утвердительный „ответ“ основан здесь на смутном ощущении интонационного построения фразы Бетси, которое механически вызвало слово „согласия“ у Анны без всякого осознания „содержания“ самой фразы.

§ 40. Мы тем легче понимаем и воспринимаем чужую речь в разговоре, чем более обща наша апперцепирующая масса с апперцепирущей массой нашего собеседника. В связи с этим речь собеседника может быть не полна, изобиловать намеками; и обратно, чем более различны апперцепирующие массы собеседников, тем понимание более затрудняется. Приведу примеры.

Случай 1. „Она (Кити) сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла... Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход

от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей". (*Анна Каренина*, стр. 500).

Случай 2. „Он (Левин) понял ее (Кити) с намека" (ib, стр. 500).

Случай 3. Ярким примером подобного рода является объяснение Кити и Левина посредством начальных букв слов — стр. 501 — 502; не привожу выдержки ввиду общеизвестности этого места; оно важно потому, что здесь при одинаковой направленности сознания роль речевых раздражений сводится до минимума (начальные буквы), а между тем понимание происходит безошибочно; кроме этого важно то, что этот случай взят Толстым из собственных воспоминаний.

Случай 4. „Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова: он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать, с намека, и она поняла его" (ib; II, 164).

Случай 5. „Профессор с досадой и как будто умственной болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя (Левина), похожего более на бурлака, чем на философа, и перевел глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая, что же тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко

не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор и у которого в голове оставался простор для того, чтобы и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал..." (ib стр. 34).

Здесь непонимание со стороны профессора обусловлено было, во первых, несоответствием Левина его представлению о „философах", странностью и неожиданностью вмешательства Левина в разговор и чрезвычайной односторонностью и узостью умственного склада самого профессора.

Подобное же явление находим и в следующем примере.

Случай 6. „Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что все затруднение происходит от того, что мы не хотим знать свойств и привычек нашего рабочего; но помещик был, как и все люди самобытно и уединенно думающие, туг к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей" (ib стр. 422).

§ 41. Понимание речи требует знания, „в чем дело"; знание, „в чем дело", дает широкий простор для осуществления понимания, как догадки и понимаемой речи, как намёка. Нижеследующие примеры имеют целью несколько осветить это обстоятельство.

Случай 1. „Со свойственной ему (Степану Аркадьевичу) быстротой соображения он понимал значение всякой шпильки (в газетной статье)“ (стр. 11 — 12). Понимание „всякой шпильки“ обуславливается здесь, конечно, не только „быстротой соображения“, но и тем, что Степан Аркадьевич был в „курсе“ того, о чем шла речь в статье, на основании прежнего чтения, разговоров и т. п. Он понимал именно потому, что знал, „в чем дело“.

Случай 2. „Разорвав телеграмму, он (Степан Аркадьевич) прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова“ (ib стр. 8).

Случай 3. „Так ты зачем приехал в Москву?.. Ты догадываешься? — отвечал Левин... — Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом... — Ну, что же ты скажешь мне?.. Как ты смотришь на это... Я?.. ничего так не желал бы как этого, ничего“. (стр. 49).

Хотя слово „это“ имеет здесь несколько эвфемистический оттенок, но взаимное понимание осуществляется, несмотря на неопределенный лексически тон разговора („это“), благодаря тому, что известно, „в чем дело“, благодаря прежним впечатлениям, разговорам и пр., дающим простор для правильной в данном случае догадки. „Это“ в разговоре Левина и Облонского напоминает французское „le chose“, которое может заменять лю-

бое слово и все таки не затрудняет понимание, когда известно, „в чем дело“. Ср. „j'ai vu le chose et il m'a dit“...

Случай 4. Из своих очень ранних детских впечатлений я помню разговор с сверстником по поводу смерти киевского городского головы Сольского; это было „событие“ в городе, говорили о нем взрослые, говорили и мы; среди какой то игры я, совершенно ни к селу ни к городу, спросил: „а почему он умер?“ Несмотря на объективную неясность этого вопроса, он вызвал немедленный и соответственный ответ со стороны товарища, так как его голова была занята Сольским в такой же очевидно мере, как и моя.

Случай 5. „Никто не расслышал того, что он (Николай Левин) сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было (*Анна Каренина*, II; 80).

§ 42. Понимание догадкой и, соответственно этому, высказывание намеком, при условии знания „в чем дело“, известная общность апперцепирующих масс у собеседников играет огромную роль при речевом обмене, и совершенно прав Е. Д. Поливанов [1]),

---

[1]) Е. Д. Поливанов — *По поводу звуковых жестов японского языка* — в сборнике *Поэтика*; П. 1919; стр. 27—8.

когда говорит по этому поводу так: „в сущности все, что мы говорим, нуждается в слушателе, понимающем, „в чем дело". Если бы все, что мы желаем высказать, заключалось бы в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Мы говорим только необходимыми намеками".

Раскрывая смысл выражения „говорение намеками" в приведенной цитате, мы можем сказать, что здесь речь идет о своеобразии синтактического строя в зависимости от определенных условий речевого обмена, в частности об его объективной простоте по сравнению с более дискурсивным говорением (при отсутствии отмеченного тожества апперцепирующих масс). Однако необходимо подчеркнуть, что эта простота синтактического строя может быть в данном случае двоякого происхождения, хотя и обуславливается одним и тем же фактором. Действительно, при тожестве апперцепирующих масс и уверенности, что собеседник сразу поймет то, что ему говорят, может обнаружиться просто невнимательное отношение к речи, и „говорение намеками" будет „говорением, как попало:" высказывание, протекая вне контроля сознания, подвергается

в этом случае влиянию различных психо-физиологических факторов независимо от говорящего. Тип „упрощенного“ синтаксиса этого рода будет своеобразен по отношению к другому возможному случаю, когда на лицо сознательный расчет на легко понимающего собеседника; в этом последнем случае говорение может протекать в обстановке особой напряженности, сопровождаясь сознательным отбором слов при максимуме синтактической расчленённости (которая в первом случае может сводиться к минимуму); речевые „намеки“ в этом случае будут содержать высказываемые мысли в сгущенном виде, будут наполнены содержанием; самая упрощенность речи будет строиться иначе.

„Говорение намеками“ несомненно не исчерпывается указанием на своеобразие синтактического строя, на употребление „значительно меньшего количества слов“, как это можно было бы думать, оставаясь в пределах приведенной из статьи Е. Д. Поливанова цитаты; оно обуславливает и другие чрезвычайно важные лингвистические явления.

Им, например, прежде всего обуславливается возможность существования в языке категорий определенного („der“, „le“) и неопределен-

ного („ein“, „un“) употребления слов [1]); употребление любого слова („книга“, „стол“, „напильник“) в данном конкретном значении без соответствующих конкретизирующих оговорок („намеком“) возможно исключительно при условии „знания, в чем дело“, т. е. известной общности апперцепирующих масс. В этой же плоскости протекает ряд явлений в области семантики слов и в частности так называемая конкретизация значений слов. Наконец, общностью апперцепирующих масс в пределах данной среды обуславливается один из основных фактов развития языка — образование различных социальных диалектов с их своеобразной лексикой, словоупотреблением, синтаксисом и пр.

§ 43. В предыдущих параграфах иллюстрировалась апперцепционность восприятия и понимания чужой речи; мы касались главным образом общих условий рассматриваемого явления. Необходимо разобраться в процессе апперцепирования в условиях специально диалогических.

Апперцепирующая масса данного собеседника при начале разговора „состоит“ из свойственной ему вообще постоянной апперцепирующей массы,

---

[1]) Эти категории существуют, конечно, в каждом языке, независимо от существования или несуществования в нем определенного или неопределенного члена.

осложненной апперцепционным привхождением момента плюс восприятием собеседника и обстановки, а также некоторого более или менее конкретного представления о теме разговора; эта начальная, исходная апперцепционная база диалога далее осложняется и изменяется в связи с воспринимаемым содержанием реплик собеседника; таким образом, каждое последующее говорение осуществляется на фоне апперцепирующей массы, определенной, в последнем счете, только что воспринятой репликой. Если в результате восприятия последней реплики на лицо отсутствие сознания понимания и усвоения того, что говорят, то следует либо переспрос, либо постепенное прекращение диалога (я имею в виду не согласие с мыслью собеседника, а именно сознание усвоения её). Последний случай нас мало интересует, так как при нем исчезает самый объект нашего рассмотрения; первый случай вызывает со стороны второго собеседника несколько более проясненное в смысле выразительности высказывание, с сосредоточением внимания на самой форме выражения, дальше разговор либо продолжается, либо снова идет, через повторные попытки этого рода, к исчерпанию. В случае же усвоения содержания реплики мы можем сказать, что каждое последующее говорение значительно облегчается привнесением в

апперцепирующую массу содержания предшествующей реплики, и, следовательно, чисто речевая напряженность говорения в каждом данном случае говорения ослабляется; при общности же основной апперцепирующей массы речевой состав высказывания значительно упрощается, так как каждая последующая реплика усиливает эту общность. В этом случае нужно гораздо меньшее количество слов, гораздо меньшая отчетливость в словоупотреблении.

Общее значение апперцепционности восприятия речи, как фактора умаляющего значение самих речевых раздражений, в диалогической речи вообще, а в только что указанных случаях в особенности, проявляется гораздо более ярко, чем в речи монологической, где момент подновления апперцепирующей массы, отсутствует, где явного для говорящего обнаружения реагирования со стороны воспринимающего речь нет и где потому чисто речевое осуществляется сознательно и бессознательно полнее и сложнее.

Глава VII. Бытовой шаблон и диалог.

§ 44. Всем известен разговор двух кумушек, из которых одна — глухая: „Здорово, кума“ — „На рынке была“ — „Аль ты глуха?“ — „Купила

петуха“ — „Прощай, кума“ — „Полтину дала“ (ответы глухой подчеркнуты).

Разговор этот пародирует ответы глухих не „впопад“, но тем не менее в „ответах“ глухой можно найти известную последовательность, „закономерность“, они в известной мере „правильны“, но правильны не по отношению к вопросам, а по отношению к определенному бытовому положению: встреча двух знакомых и шаблонный разговор при встрече.

В сущности глухая сделала одну первоначальную ошибку: она забыла, что при встрече здороваются; остальные же ее ответы были рассчитаны на шаблонную последовательность вопросов: „где была“, „что купила“, „сколько дала“, и в этом отношении догадка ее очень жизненна, и „разговор“ должен был бы протекать так: „здорово, кума“ — здорово, кума“, „где была“, „на рынке была“, „что покупала“, „купила петуха“, „сколько дала“, „полтину дала“; первая кума и не догадалась-бы, что вторая — глухая, разговор прошел бы вполне благополучно.

Глухие далеко не всегда отвечают не впопад, часто они попадают, куда нужно, и руководящим моментом для них в ряде случаев является именно учет обстановки, ориентация на бытовой шаблон, которому соответствует и шаблон речевой. Во

всяком случае, правильно или неправильно догадывается глухой в каждом отдельном случае, но самая „база“ его догадки с достаточной определенностью указывает на момент соответствия шаблонов быта и речи, как на момент действенный при речевом общении. Он является действенным, конечно, не только для глухих, но и вообще.

§ 45. Наш повседневный быт заполнен повторяющимся и шаблонным; в общей сумме наших взаимодействий с другими людьми весьма изрядная часть принадлежит шаблонным взаимодействиям; но наши взаимодействия, каковы бы они ни былй, вообще всегда сопровождаются речевыми взаимодействиями, речевым обменом, и, соответственно этому, шаблонные взаимодействия обрастают шаблонными . речевыми взаимодействиями; между теми и другими устанавливается теснейшая ассоциативная связь. Мы очень мало замечаем это обстоятельство, как вообще мало замечаем то, что сделалось привычным, но можно сказать, что эта связь обнаруживается даже во временном отношении: известным периодам дня соответствуют известные речевые факты; связь в данном случае настолько тесна, что в определенные периоды дня, которым соответствуют определенные бытовые „дела“, воспринимаемая нами чужая речь воспринимается в определенном смысле,

иногда „неверно“, апперцепируется в зависимости от учета бытовой обстановки. Приведу примеры.

Моим всегдашним „вечерним“ делом является — „ставить самовар“, но так как это дело меня весьма мало увлекает, то я обыкновенно сижу в своей комнате до тех пор, пока кто-нибудь не крикнет: „пора ставить самовар“; эта фраза настолько тесно связана в моей голове с временем около девяти часов вечера, что ею я апперцепирую фразы ничего общего по смыслу с этой фразой не имеющие; отсюда возможность такого диалога: „ты покупал сегодня газету?“ — „еще рано, через полчаса буду ставить“, т. е. диалог идет совершенно в стиле „аль ты глуха“, и реплика подается не в связи с речевым раздражением в его конкретности, но по поводу него в связи с учётом (бессознательным, конечно) бытового шаблона.

Другой пример подобного же „диалога“: я кричу утром из своей комнаты: „а сегодня сильный мороз!“ — мне отвечают: „уже десять часов“; ответ „не впопад“ объясняется тем, что, обычно, первое, что от меня слышат по утрам это — „который час“, т. е. пора-ли уже вставать. Еще пример: я выхожу из своей комнаты и говорю — „я куда-то дел повестку“, мне „отвечают“: „это Аннушка звонила“; действительно, был звонок, который я, однако, не слышал, но так как обычно

я интересуюсь тем, кто именно звонил, и спрашиваю об этом, мне и на этот раз „ответили“, ориентируясь на шаблонный диалог о том, „кто звонил“.

§ 46. Конечно, отмеченная ориентировка на бытовой шаблон наиболее отчетливо констатируется на случаях ответа „не впопад“, но и в нормальных случаях она, разумеется, также на лицо.

Если в данной квартире с вами находится какой нибудь „Миша“, и вы кричите: „Миша!“, то он услышит, поймет и ответит вам: „что?“ но фактом обуславливающим такое безошибочное понимание будет не только и не столько отчетливое восприятие слова „Миша“, сколько — при приблизительном восприятии этого слова—бессознательное „умозаключение“, что никого другого вы звать не можете, что вы и раньше также его звали, что он, собственно, догадывается, что вам нужно и т. п., и, если вы крикнете ему не „Миша“, а другое имя, то он по тем же основаниям может воспринять его, как „Миша“.

Если вы сидите за обедом и вас просят передать тарелку, то фактором понимания вами обращенных к вам слов будут не только эти самые слова, но и обеденная обстановка и то, что за каждым обедом вам приходится передавать тарелки, что это обеденный шаблон.

Если вы подойдете к газетчику и скажете ему „дайте Красную“, он вас поймет сразу, но если вы его спросите „как пройти на Чернышев переулок“, да еще спросите это в горячее для газетной торговли время, он вас поймет не с такой легкостью, переспросит или, может быть, вместо ответа подаст вам газету, потому что среди факторов понимания не будет соответствия между речевым обменом и шаблонным для него бытовым положением. Однажды при мне в парикмахерскую зашла дама и обратилась к парикмахеру со словами: „не купите ли у меня мыла“, парикмахер переспросил ее: „волосы причесать?“, т. е. увидел в ней клиентку и реагировал на ее обращение, исходя из привычной „тематики“ шаблонного диалога в парикмахерской.

§ 47. То обрастание шаблонных бытовых взаимодействий шаблонными речевыми взаимодействиями, о которых я говорил выше, легче всего показать на крайнем случае чрезвычайно замкнутой, однообразной и полной шаблонных повторений среды, как дается, например, Мопасаном в рассказе *По семейному* [1]).

Речь идет о чиновнике Караване, который „вел нормальную жизнь чиновника“, „он неизменно ездил

---

[1]) *Полное собрание сочинений*, изд. „Просвещение“, стр. 357.

по утрам в свою канцелярию по одной и той же дороге, встречал в тот же час на одних и тех же местах знакомые лица людей, идущих по своим делам, и каждый вечер, возвращаясь по той же дороге, он опять встречал все те-же лица, постепенно старевшиеся на его глазах. Каждый день купив за су газету на углу предместья Сен-Оноре, он покупал еще два хлебца... входил в свою канцелярию... в вечном ожидании выговора... (стр. 358). „Никакие события во внешнем мире не нарушали однообразия его существования, так как ничто, кроме канцелярских дел, повышений и наград не интересовало его... Никогда его ум... не имел других мыслей, других надежд, других мечтаний, кроме тех, которые связывались с его министерством (стр. 359). „Частенько" он посещал кафэ, чтобы выпить „рюмочку полыновки", встречаясь там, конечно, с одними и теми же лицами (стр. 362). Естественно, что такое бытовое однообразие, такая до крайности шаблонизнрованная жизнь создавали такое-же днообразие и шаблонность в области речи: „каждый вечер за обедом он убедительно доказывал своей жене... и т. д." (стр. 359), получив орден „он беспрестанно, ни к селу ни к городу упоминал о „своем ордене" (стр. 360); „разговор двух спутников (Каравана и Шене) на пространстве

между Триумфальной Аркой и Нельи всегда касался одних и тех же предметов. И в этот раз они занялись критикой разных местных порядков... Потом, как это обыкновенно бывает в обществе врача, Караван свел разговор на болезни"... потом на долголетие своей матери, девяностолетней старухи и „беспрестанно повторял: я думаю, не часто доживают до такой старости" (стр. 361); в кафэ обычные „любезные приветствия" и неизбежное: что нового?" (стр. 362).

В доме Каравана также шаблонность и постоянство: жена тратила все свободное время на уборку квартиры, она носила „неизбежные" нитяные перчатки и чепец с розовыми лентами, „каждый раз, когда ее заставали за работой... она неизменно говорила: я не богата, у меня все просто, но чистота — моя роскошь"... (стр. 363); „каждый вечер за столом а потом в кровати они (Караван и его жена) долго толковали о канцелярских делах..." (стр. 363). Каждый день при возвращении Каравана задаются вопросы: „что нового в министерстве" (и женой и дочкой, которая говорила точь в точь, как мать, повторяла ее выражения и даже подражала ее жестам). По поводу нового назначения в министерстве Караван „повторяет старую шутку", дочь говорит шаблонную фразу: „значит еще один сел тебе на шею"; желая

переменить разговор, Караван произносит также несомненно повторявшуюся фразу: „а что, как мать наверху? Здорова?“ (стр. 366).

В другом произведении (*Сильна как смерть*“; стр. 61 того же издания) Мопасан выделяет шаблонно повторяющийся слой быта „светского человека“: „утром его одевает лакей, бреет парикмахер, с которым он обменивается несколькими общими фразами; перед утренней прогулкой он расспрашивает конюха о здоровье лошадей, затем скачет по аллеям Булонского леса... потом завтракает вдвоем с женой... и говорит с ней лишь для того, чтобы перечислить имена особ, встреченных им поутру; почти до самого вечера шляется из гостинной в гостинную, чтобы освежить свой ум общением с себе подобными, и обедает у какого нибудь князя, где спорит о политическом положении в Европе и т. д.“

Каждый из нас мог бы в своей личной жизни выделить эти шаблонные, повторяющиеся элементы и соответствующие им шаблонные речевые проявления; что у Каравана дано в крайней степени, то в известной (и большой!) степени имеется на лицо у каждого из нас; в каждом из нас есть бытовой Караван и ему соответствует Караван речевой.

§ 48. Возвращаясь к словам первого параграфа этой главы о моменте соответствия шаблонов быта и речи, как моменте действенном при речевом общении, определяющем восприятие речи, и следовательно и говорение, мы постараемся сделать вывод из предыдущих наблюдений.

Вывод этот таков: при диалогическом общении (о котором только здесь и шла речь) бытовая обстановка есть один из факторов восприятия речи, один из моментов, имеющий сообщающее значение. Соответственно этому роль речевых раздражений умаляется, они отодвигаются несколько на задний план, они не подлежат отчетливому восприятию. Самое говорение производится с бессознательным расчетом на это сообщающее значение бытовой обстановки, и оттого оно, в свою очередь, может быть менее полным, менее отчетливым; не представляется необходимым момент обдумывания и отбора, самое говорение склонно протекать в порядке просто волевого действия и притом с привычными элементами. Мы приходим таким образом к выводам аналогичным уже ранее сделанным.

§ 49. Говорение в связи с определёнными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз, как бы прикрепленных к данным бытовым положениям и шаблонным темам разговора. Много-

численные примеры таких фраз можно найти в разных практических руководствах по тому или иному языку или в путеводителях, где они как раз и распределены по шаблонным темам разговора; мы находим, например, фразы, относящиеся к темам: „одежда“, „дом“, „еда“, „вставать и ложиться“, „умывание“, „о погоде“, „торговля, купля и продажа“, „о болезни“, „в кафэ и ресторане“ и пр. и пр.

Эти фразы, в силу их постоянного употребления в одной и той же бытовой обстановке, становятся как бы окаменелыми, превращаются в своего рода сложные синтаксические шаблоны; членение фразы в значительной мере стирается и говорящий почти не разлагает ее на элементы. Воспроизведение, мобилизация такой фразы есть воспроизведение привычного шаблона, которое можно сравнить с воспроизведением привычного слова или „речения“; если употребляя такую фразу, мы хотя и смутно ощущаем ее, как состоящую из отдельных элементов — „слов“, то не в силу того, что это смутное членение вызывается расчлененностью нашей мысли, но главным образом в силу чисто морфологических ассоциаций, в силу наличия флективных элементов (склонения, спряжения), причем здесь полная аналогия с „речениями“ типа „спустя рукава“ или „железная

дорога“, где членение поскольку оно есть определяется исключительно подобными морфологическими ассоциациями и не имеет никакой поддержки в расчленяемости соответствующего представления. Совершенно очевидно, что такой тип фразы должен быть определенно противупоставлен другому, где налицо известное комбинирование, сопровождающееся отчетливым членением, соответствующим и расчленённости мысли. Этот тип фразы может быть скорее сопоставлен с образованием нового слова из привычных морфем, чем с пользованием шаблонным словом. Здесь в сущности может идти речь о синтактическом построении в глагольном значении этого слова, тогда как в первом случае мы имеем пользование готовыми, построенными фразами, построениями в субстантивном значении этого слова.

Не приходится подчеркивать, насколько важно для языкознания, в частности для учения о фразе, различие отмеченных двух типов фраз. Останавливаться на этом вопросе подробнее — не входит в задачи моей статьи, но я считал необходимым отметить данное обстоятельство, поскольку тип фразы — шаблона возникает в диалоге в связи с говорением в условиях бытового шаблона.

Глава VIII. Диалог и речевой автоматизм.

§ 50. Речеупотребление частью протекает в порядке сложного волевого действия, т. е. самому речеупотреблению предшествует момент известной борьбы мотивов и выбора. Вот несколько примеров такого сложного речеупотребления.

Случай I. Мне нужно сказать нечто очень неприятное любимому и уважаемому мною человеку; во мне борятся два чувства: с одной стороны я хотел бы сказать все сразу, называя вещи своими именами, „выпалить" и покончить с делом, с другой стороны, я боюсь обидеть и, может быть, оскорбить его и в результате выражаюсь осторожно, исподволь, говорю намеками, выбирая слова, не договариваю и пр.

Случай II. Необходимо путем речи передать данный ряд умозаключений; во мне борется привычка к неотчетливому выражению мыслей, воспитанная обиходною речью, и сознание необходимости возможно точнее и бесспорнее обнаружить свои выводы; последнее получает преобладание, я произвожу выбор между данными словами и словосочетаниями, с точки зрения пригодности их для моей цели, произвожу выбор между возможными сочетаниями предложений.

Случай III. Ведется разговор в „великосветском“ салоне о разных пустяках, в иронически-шутливом тоне, с остротами и „bon-mots“, соответственно этому происходит отбор слов, интонаций, и подвертывающиеся на язык выражения расцениваются — принимаются или отметаются — с точки зрения того, чтобы не был нарушен общий стиль „causerie“.

Случай IV. Я говорю с человеком иной среды, чем моя, например, среды менее „культурной“, или с ребенком; я произвожу отбор слов или словосочетаний с той целью, чтобы собеседник меня понял с наибольшей легкостью. В области письменной речи подобное явление встречается, например, в популярно-научных брошюрах.

Случай V. Поэт пишет стихи; он выбирает те или иные сочетания слов или отдельные слова; иногда, по одним мотивам (напр., звуковым), он склонен зафиксировать данный „вариант“, но отбрасывает его, побуждаемый другими мотивами (напр., семантическими).

Случай VI. Я председательствую на собрании, где обсуждается живо интересующий меня вопрос; как живо заинтересованный в данном деле я готов-бы дать „волю“ своему языку, пуститься в полемику, украсить её всякими перлами остроумия, дать речи естественное эмоциональное течение; слова

почти срываются у меня с языка, но, помня, что я председатель, я сдерживаюсь, осторожно выбираю слова, принуждаю себя к спокойной интонации.

Случаи, подобные предыдущим, можно было бы значительно пополнить; сложность речевой деятельности, обусловленная различными обстоятельствами, есть чрезвычайно распространённое в речевой практике человека явление.

§ 51. В этом параграфе я приведу несколько примеров непривычной речевой деятельности, т. е. речевой деятельности, протекающей в порядке волевого действия с непривычными элементами.

Случай I. Я говорю на мало знакомом мне языке, пользуясь необычными для меня звуками, звукосочетаниями, синтактическими оборотами и пр.

Случай II. Я пользуюсь новозаимствованным словом или оборотом, или недавно возникшим в моей среде новообразованием лексического порядка, которое входит в мою речевую деятельность, как непривычный элемент.

Случай III. В эмоционально-окрашенном разговоре я не нахожу слова, адекватного моей мысли или чувству; я „создаю“ новообразование, употребляю „неправильный“ оборот; делаю это сознательно или бессознательно, но ощущаю обнаруженное мною новообразование, как непривычное.

Случай IV. Я пользуюсь в разговоре каламбурами и bon-mots, являющимся непривычными элементами речевой деятельности и дающими непривычное сочетание речевых фактов.

Примеры подобного рода можно было бы также умножить; некоторые подходящие сюда случаи даны мною в статье „*О поэтическом глоссемосочетании*“ в сборнике „*Поэтика*“ (стр. 7 сл.); отмечу, например случаи под номерами вторым, пятым, седьмым, девятым, десятым и др. из указанной статьи.

Возможны и даже часты случаи сложной непривычной речевой деятельности, примером которой являются, хотя бы, соединение случая третьего из § 50 и четвертого из настоящего параграфа и т. п.

Совершенно ясно, что и случаи сложной речевой деятельности и случаи непривычной речевой деятельности, а тем более случаи деятельности сложно-непривычной характерны с психологической точки зрения сознаваемостью речевых фактов и сосредоточением на них внимания (в той или иной степени).

§ 52. Момент непривычности в речи может быть иллюстрирован и на процессе восприятия речи. Приведу примеры.

Случай I. Восприятие обмолвки собеседника или оратора.

Случай II. Восприятие речи, окрашенной в той или иной степени диалектизмами (в произношении, в словоупотреблении), а также восприятие иностранной речи, редко слышимой.

Случай III. Восприятие необычно построенной речи (в синтактическом отношении).

Случай IV. Неожиданность восприятия данных речевых фактов в данной обстановке или в данной связи; напр., русский язык в богослужении, жаргонные слова в обычном интеллигентском разговоре, обыденные, „низкие" слова в стихах и пр. и пр.

Случай V. Первоначальные ощущения от языка литературных произведений новой (в языковом отношении) литературной школы, или восприятие поэтического языка относительно обыденной речи.

Случай VI. Восприятие новообразования, недавно вошедшего в язык данной среды; восприятие сознательного или бессознательного новообразования собеседника в порядке разговора (см. § 51 случай 3).

§ 53. Отмечая существование речевой деятельности, протекающей в порядке сложности и непривычности и сопутствуемой сознаваемостью и сосредоточением внимания на речевых фактах, мы не должны упускать из виду и такой речевой деятельности, которой не свойственны ни слож-

ность (т. е. моменты борьбы мотивов или отбора), ни непривычность (говорения или восприятия) и при которой речевые факты сознаваемы либо в крайне малой степени, либо вовсе не сознаваемы и не являются объектом внимания.

В этом последем случае мы пользуемся речью как бы „бессознательно", автоматически.

§ 54. Если приведенные выше примеры дают нам случай речевой деятельности сложной и непривычной, то о речевом автоматизьме мы можем говорить по поводу речи, протекающей в порядке простого волевого действия с привычными элементами; действительно, здесь речевые факты не входят в сознание, не подлежат вниманию—ни в момент, предшествующий началу деятельности (так как нет отбора и борьбы мотивов), ни во время самой деятельности (так как они привычны).

Так как первоначально — в период обучения — всякая речевая деятельность есть деятельность сложная и непривычная, то автоматическая речевая деятельность принадлежит к типу так называемых вторично-автоматических деятельностей, возникающих из сознательных путем повторения, упражнения и привычки.

§ 55. Простое самонаблюдение (по воспоминанию) над своими собственными переживаниями во

время речевых проявлений убеждает нас в существовании отмеченного автоматизма. Не говоря уже о фонетической и морфологической стороне языка, но и в области словоупотребления мы в целом ряде случаев отметим отсутствие сосредоточения внимания и отсутствие какого бы то ни было словесного отбора. В повседневном опыте мы можем убедиться, как часто мы не вполне выражаем нашу мысль, опускаем нужные слова, думаем одно, а говорим другое: наше речевое намерение не совпадает с исполнением. Все это обуславливается теми или другими психофизиологическими законами; самое-же свободное действие этих законов в свою очередь обуславливается отсутствием сосредоточения контролирующего внимания на знаках речи. Оговорки, обычно не замечаемые нами, обязаны своим происхождением тому же явлению. Проф. Введенский в своей *„Психологии без всякой метафизики“*, разбирая вопрос о ложных умозаключениях и о причине их возникновения, приходит к выводу, что в самом устройстве человеческого мышления таких причин нет, и, что, если ложные умозаключения все-таки возникают, то единственно благодаря невнимательному употреблению слов в их значениях, пропуску слов и т. п.

§ 56 Из всего сказанного выше о диалоге следует, что диалогическая форма способствует

протеканию речевой деятельности в порядке простого волевого действия, вне обдумывания и отбора, что она способствует умалению значения речевых элементов в общем порядке взаимодействия, и протеканию речи вне контроля внимания и сознания, и что она лучше всего выполняется при наличии привычности речевых элементов.

Диалогическая форма способствует протеканию речи в порядке автоматической деятельности [1]).

§ 57. Утверждая тесное взаимодействие между диалогической формой речи и речевым автоматизмом, мы должны поставить это обстоятельство в связи с той ролью, которую обыкновенно дают диалогу, как речевой форме, в вопросе об изменяемости языка; „в диалоге куются новые слова, формы и обороты“, говорит проф. Щерба в уже цитированной работе. Диалог, как „прогрессивная“

[1]) Из сказанного вовсе не следует, что диалог всегда есть автоматическая речь, так как речь при диалоге определяется не только диалогической формой, но и другими, например, целевыми моментами; в приведенных в § 50 примерах есть случаи диалогической речи, протекающей как сложная и непривычная деятельность. С другой стороны, монолог вовсе не всегда сложная или непривычная речевая деятельность так как автоматизм речи определяется не диалогом только, но и вообще повторением, упражнением и привычкой в области речеупотребления.

форма речи, противопоставляется монологу, как форме „консервативной“.

Ясно, что здесь мы имеем две возможности: либо изменяемость речи, речевое „творчество“ проявляется в сознательной форме, и мы имеем дело с соединением диалога с сложной непривычной речевой деятельностью, либо эта изменяемость проявляется в автоматической диалогической речи.

Но первый случай приходится сразу исключить. Во первых, языковые изменения в массе происходят независимо от какого нибудь умышленного творчества, подразумевающего сознательный момент; во вторых, если они и происходят в таком порядке, то как раз в монологических и письменных формах речи (напр. особенно в поэзии) в гораздо большей степени, чем в диалоге.

Но, с другой стороны, автоматизм подразумевает как будто именно некоторую устойчивость, неизменность. В таком случае, правильно ли утверждение „прóгрессивности“ диалога?

Несомненно правильно, и я постараюсь показать, что изменяемость диалогической речи в значительной степени обуславливается именно в связи с ее автоматическим уклоном.

§ 58. Автоматические деятельности и движения могут оставаться неизменными, в случае суще-

ствования какого нибудь задерживающего момента (сознаваемого или несознаваемого индивидом), или подвергаться видоизменениям, в случае, если этот задерживающий момент слаб или отсутствует вовсе.

Какое нибудь выученное автоматическое действие вроде „крестного знамения“ — может оставаться неизменным в употреблении данного индивида, если эта неизменность поддерживается религиозным чувством, требованием „истовости“ крестного знамения; но при отсутствии этого задерживающего момента оно изменяется в направлении сокращения и упрощения (через ускорение) и превращается в „чистку пуговицы“. Подобное происходит и с выученной молитвой и во многих других случаях.

Большая или меньшая изменяемость зависит от существования задерживающего момента и степени его влияния.

Нечто подобное вышесказанному должно наблюдаться и в области автоматической речевой деятельности; и здесь неизменяемость должна находиться в связи с существованием задерживающего момента и степенью его влияния.

§ 59. Момент, задерживающий изменяемость всякой речи, — есть собеседник и вообще восприни-

мающий речь. А. А. Шахматов [1]) констатирует факт изменяемости речи „в устах говорящего“, который, по его словам, „относится к языку бессознательно, как к орудию общения с другими людьми“, причем „ни о каком сознательном моменте не может быть и речи“ (отсюда ясно, что А. А. Шахматов имеет ввиду именно автоматическую речь); Шахматов далее останавливается на собеседнике, в котором эти изменения „находят себе явное противодействие“; по мнению Шахматова, если говорящему удается провести то или иное изменение, то „это зависит, вероятно, от того, что в этом именно явлении он в сознании собеседника встречает наименьшее сопротивление, что самому собеседнику этот новый приём . . . . представляется и удобным и естественным“.

Но хотя собеседник и является вообще говоря задерживающим моментом при всяких попытках изменения речи; однако следует уяснить себе степень влияния этого фактора в условиях автоматической диалогической речи.

§ 60. Момент „собеседника“ вводит нас в область восприятия и понимания речи, и мы должны поставить себе вопрос, нет ли в самих условиях

---

[1]) „История русского языка“, литографир. курс лекций; ч. I-ая; стр. 95—6.

восприятия и понимания речи чего либо такого, что допускало бы изменения в речи говорящего.

После того, что было сказано выше об умалении значения речевых раздражений при восприятии речи вообще и диалогической речи в частности и особенности, можно на поставленный вопрос ответить утвердительно. Задерживающее значение собеседника условиями восприятия речи ослабляется и, снова подчеркиваю, особенно при диалогической речи.

К этому нужно прибавить, что поскольку мы говорим об автоматической речевой деятельности, те изменения, которые возникают у говорящего, всегда находят себе малое сопротивление в собеседнике, и собеседнику то, что Шахматов называет „новым приемом“ всегда представляется „удобным и естественным“, по той простой причине, что те изменения, которые возникают из самого существа автоматической речи, всегда протекают в одном направлении — убыстрения, сокращения и упрощения (как это мы имеем при всяких изменениях автоматических деятельностей, не обязанных внешним по отношению к автоматизму деятельности причинам); но так как всякий „собеседник“ есть в то же время „говорящий“, то, в пределах данной социальной группировки, те изменения, которые в нашем случае атоматической речи проис-

ходят в „устах говорящего“, „собеседнику“ привычны и удобны, как и самому говорящему.

§ 61. В заключение этой главы мне хотелось бы подтвердить сказанное об изменяемости автоматической речи и притом в направлении убыстрения, сокращения и упрощения, наблюдениями над фонетическими явлениями, которые в этом отношении наиболее характерны. С этой целью я воспользуюсь данными, имеющимися в различных работах по декламации и выразительному чтению и, таким образом, избегу упреков в каком нибудь умышленном — хотя бы непроизвольно — подборе материала.

Д. Коровяков [1]) в главе о „технических условиях“ касается вопроса о „произношении“; указывая на условия „беспорочности“ (патологические случаи, вроде картавления) и „правильности“ (московский говор), он на стр. 37 говорит об „отчетливости произношения слов русской речи“, отмечая, что „зачастую встречаются примеры ленивого, вялого, тусклого произношения слов, скрадывания конечных слогов, процеживания сквозь зубы и т. п. Во избежание таких погрешностей должно быть наблюдаемо, чтобы гласные звуки произносились

[1]) „Искусство и этюды выразительного чтения“. П. 1914; стр. 19 сл.

чисто, а согласные артикулировались при энергичном участии надлежащих органов, чтобы в слове слышались отчетливо все слоги его составляющие, чтобы рот был раскрыт сколько следует, и слова произносились возможно более громким голосом".

В. Острогорский [1]) считает самым важным и первым условием хорошего произношения — отчетливость: „умение вполне отчетливо отделять при произношении звуки один от другого"; „с отчетливостью тесно связана и ясность"... „на отчетливость и ясность произношения учеников должно быть обращено особое внимание. Торопливость произношения, при которой съедаются звуки, — явление в школе самое обыденное" (стр. 36).

У А. Долинова [2]) указывается, что „необходимо следить за тем, чтобы точно и ясно выговаривались согласные звуки; их нельзя проглатывать или произносить вскользь. Особенное же внимание надо обращать на случай встречи нескольких согласных".

Ю. Озаровский [3]) в параграфе о „ясности произношения" указывает, что это свойство дости-

---

[1]) „Выразительное чтение"; изд. 7-ое; М. 1916, стр. 34 сл.

[2]) „Практическое руководство к художественному чтению". П. 1916 г. часть 1-ая; стр. 114.

[3]) „Музыка живого слова". Спб. 1914 г., стр. 212.

гается между прочим „сравнительно медленным темпом речи и внимательным отношением к образованию звука“.

С. Волконский [1]) приводит многочисленные примеры пропусков неударенных гласных, а также и согласных — отсылаю на стр. 51, 55, 65 и др. цитируемой книги. На стр. 56 он говорит: „прислушайтесь к нашей речи: много ли вы уловите настоящих чистых точных согласных? Прислушайтесь, вы ужаснетесь приблизительности... вы заметите, что половину слов вы не слухом слышите, а улавливаете по смыслу“... „вялые, робкие, бледные, неопределенные звуки, — вот то, что в большинстве являет наша речь... одно только средство... привести к сознанию все до малейшего приемы выражения...“ (стр. 59).

Суммируя вышеприведенное, мы можем сказать, что, во первых, здесь идет речь о явлениях автоматической речевой деятельности: ср. у Озаровского, где рекомендуется „внимательное отношение к процессу образования звуков“ для избежания этих явлений; у Волконского, где указывается „одно только средство“ — привести к сознанию приемы выражения. Таким образом, те „недостатки“, с которыми борятся специалисты по искусству речи,

[1]) „Выразительное слово“; Спб. 1913.

„излечиваются“ введением произношения в сферу сознания, сосредоточением на нем внимания, а, значит, сами эти „недостатки“ относятся за счет „бессознательности“ произношения, отсутствия сосредоточения внимания, т. е. суть явления автоматической речи.

Во вторых, сами эти явления характеризуются, как торопливость, приблизительность, неотчетливость, ленивость, вялость, скрадывание слогов (в частности конечных), съедание звуков и пр., иными словами мы можем говорить о быстром темпе речи, о малоэнергичном артикулировании, о неточном выполнении и о невыполнении отдельных произносительных работ, о выпадении звуков в некоторых условиях, об упрощении групп согласных, о явлениях конца слов и пр., но эти обозначения вполне покрываются понятиями убыстрения, сокращения и упрощения (хотя и не исчерпывают их).

Анализируя явление обмолвки в статье „*О причинах обмолвок речи*“ [1]), В. М. Бехтерев, касаясь причины возникновения обмолвки, говорит: „ясно, что в происхождении обмолвки то или иное состояние сосредоточения играет первенствующую роль. Вот почему для оратора, желающего избе-

[1]) „Голос и Речь“, № 9, 1913 г., стр. 6.

жать обмолвок, главное условие заключается в том, чтобы научиться управлять сосредоточением resp. вниманием, которое должно следить за самой речью, а не отвлекаться сторонними впечатлениями... во избежание обмолвок прежде всего не нужно спешить"... Таким образом и здесь ставится в зависимости явление обмолвки с отсутствием сосредоточения внимания и темпом речи.

В статье *„О скоплении одинаковых плавных в практическом и поэтическом языке"* [1]), я отмечал, что причиной диссимиляции плавных является вызываемое скоплением плавных объективное замедление речи, некоторое заикание, сосредотачивающее наше внимание на произношении, вводящее момент усилия и, следовательно, нарушающее речевой автоматизм.

Некоторые слова и выражения, особенно часто употребляемые и повторяемые и поэтому особенно автоматизированные, дают тенденцию к упрощению и сокращению в особенно отчетливом и так сказать закрепленном виде; ср. такие случаи, как „грит" (говорит), „здрасте", „драсте" (здравствуйте), „Верайсанна" (Вера Александровна) и т. п.

§ 62. Заключительное замечание. Заканчивая настоящую статью, я чувствую всю неполноту

---

[1]) Сборник „Поэтика", стр. 52.

и даже некоторую поверхностность моих соображений; однако мне кажется, что причина всего этого лежит не только во мне, но и в общем состоянии современного языкознания, поскольку оно не ставит своей задачей изучение функциональных многообразий речи во всем их объеме: материалы, необходимые для всестороннего и исчерпывающего освещения затронутых вопросов, совершенно отсутствуют. Собирание же материала не по силам одному лицу; оно подразумевает коллективную работу, напоминающую такую же работу в области диалектологии. В частности в отношении диалога необходим большой материал записей диалогов, почерпнутых из действительности, а не из литературных произведений, которые дают материал, требующий очень осторожного отношения. Поэтому я не хотел бы, чтобы эта статья оценивалась даже, как попытка к исследованию диалога; она имеет целью лишь показать, что диалог есть действительно особое явление речи и в общих и неполных чертах наметить. в чем эта „особость" проявляется.

Лев Якубинский.